АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

Д-75.

КОНЕЦ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

17868 I

ФЕДЕРАЦИЯ 1930

ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ
Ф

П81 Д-75

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

КОНЕЦ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

РАССКАЗЫ

Тюменская Центральная БИБЛИОТЕКА
К К/17868 I

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА ★ 1930

Обложка работы
худ. В. ФИШЕРА

Главлит № А—47917 Заказ № 1495 Фосп. 305 Тираж 4.000

ОБИДА

ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ

I

В тринадцатом году я ходил холостяком, чувствовал себя легко, как босой, а в груди носил чахотку. Я жил в тринадцатом году под Севастополем у одинокого человека польской крови по имени Казимир, по профессии дегустатор; его длинные узкие руки, покрытые серебристым волосом, вечно дрожали мелкой дрожью, как осина.

Со своей проклятой службы, с частного виноделия, он приходил под хмельком, но не пьяный, брал флейту и до ночи свистел, как птица, глядя через открытое окошко на море, похожее на синий живот.

Я его спрашивал:

— Служба ваша трудная, должно-быть?

— Не то трудное в моей службе, что каждый день приходыватся откушивать вина, — отвечал он тихо, голосом схимника, обезображивая русские слова не по нужде, как мне казалось, а по непонятному ка-

призу, — а то трудное, что не приходывается напиваться до блаженного забвенья. Ибо тогда мой язык теряет чуткость.

Посвистев во флейту, он вытирал губы батистовым с нежной каемкой, платочком и добавлял, глядя на меня серыми, как пыль глазами:

— Я похож на юношу, жаждущего любви, но по обету не смеющего коснуться женщины. Я вам сыграю мелодию собственного сочинения, посвященную моему гонимому народу.

Он был странный человек, жил вдвоем с матерью, глухой и надменной, черствой старухой, редко отлучался в город, не водил знакомств, но одевался как щеголь, выписывал модные прейскуранты и каждое утро менял галстуки. Вероятно, на почве многолетнего алкоголизма он нажил себе душевную болезнь. Я много видел в жизни мест и людей, и Казимир наверное, затерялся бы в моей памяти. Здесь Казимира мне напомнили руки моего хозяина Павла: они тоже дрожат, как осина на ветру, тоже суетливы и враждуют с предметами.

— Живешь ты у нас, в Овечьем Доле, четыре месяца, — говорит Павел, назойливо стоя в дверях,— а делов наворотил, выражаясь на языке современной власти, на тысячу килов. Таких учителей отличать надо. А ты все без отличия сидишь на сорока рублях, и даже семью не можешь на новое место перенесть, и в известной части населения имеешь враждебников. Или не так?

Если слушать Павла, то нужно бросить тетрадки, самодельные без оберток, стопочкой лежащие на столе, и попросить Лизавету Ипатовну вместо меня рассказать о Чан Кай-ши в избе-читальне — такой человек Павел, и человек мне неприятный. У него психология слепня, всюду он выискивает, как бы укусить человека.

Лизавета Ипатовна говорит, что он пустобрех, а он не только пустобрех, но и выгодник: я видел на днях, как он поехал на базар в уезд продавать корову, чтобы прикинуться бедняком к продналогу. Весь он липкий, знойный, неверный, кидается ко всем и ни в ком не находит веры. У него сумеречное, втянутое, постное, как у суздальских святых лицо, обширные глаза пыльного цвета и сухой голос, с треском вылетающий из его горла подобно отработанному пару. Ни чорта он не делает, ходит и покрикивает на баб, которых неожиданно много на его половине, грязной и тесной.

Он старший брат в семье, отец помер, а младший брат, Сергей, оканчивает в уезде подтехникум. На огороде, за ригой, в путанном раскидливом вишеннике стоит банешка, почти по крышу врытая в землю — как хилая старуха зонт, раскинула она над собой переплет листьев и прячется под ним от света и взора. В этой банешке у Павла стоит аппарат, весьма затейливый, усовершенствованный и тонкий, самогон варят бабы, а Павел только пробует, сортируя продукцию, и от постоянных проб у него трясутся руки, и этим он напоминает мне Казимира из Севастополя.

— Павел, милый товарищ, — говорю я, — шел бы ты к работе, а то у меня тоже работа: видишь, ребята насочиняли целую библиотеку.

— И мой насочинял! — восклицает он гулко, — или не так?

— И твой. Хочу проверить.

— Проверяй, — говорит он разрешительно, — проверяй, ведь я к чему зашел? Завтра мужики попов принимают. Выбирают мужики попа на опростанную должность, на место отца Кирилла, царствие ему небесное, великолепному человеку. И тебя, и Лизавету Ипатовну хотят звать. Я тебе вот что внушу: молодых сагитировали на то, чтобы церковь под школу отвести, как нет у нас самостоятельного здания, а у меня тесно. Ты как на такой счет?

Он останавливается с разбегу и даже вытягивает руки, чтобы не упасть.

— Нехорошо, Павел, — говорю я.

Его лицо непромокаемо.

— Че-о-сь?

— Отлично ты знаешь, что это моя мысль, и Лизаветы Ипатовны. И ребят из учкома.

— Че-о-сь?

— Иди себе, товарищ милый, не мешай мне дело делать. И себя от неприятностей побереги.

Он идет, поддернув плечи, которые налезают у него на уши, и сзади видно, что ноги у него вдвое короче спины. У двери он поворачивается и говорит почти дружественно:

— У меня неприятностей нет, Алексей Михайлыч, а на себя ты их накликаешь. Как ворон. Молодая деревня, она изменчива: нынче эстак, завтра так, а подпора всему старики. И основание. Или не так?

Вечером в избе-читальне набирается человек десять: цвет новой деревни, общественники. В желтом полусумраке я гляжу на их лица, которые плывут передо мной, как луны в тумане, на их скошенные тени, упавшие на стены и на земляной пол. Сбоку от меня, положив руки на стол, неслышно сидит Лизавета Ипатовна; на ней, поверх платья, городской джемпер зелеными и желтыми шашками, которым тесно обхвачена ее грудь; ее щедрые волосы, наливной и тяжелой силы, собраны на затылке крепким узлом; мне видно, как в дерне ее ресниц зрачки играют светом лампы — как стылая вода в полынье. На чердаке катается осенний ветер. С этими товарищами мне легко, и у меня свободный, счастливый голос. Я говорю о китайцах, о гоминдане, об аппетите империалистов, который приходит с едой, и почти не слушаю себя. Читая доклад, я мысленно здороваюсь с моими слушателями.

«Э, Ключкин Степуша, здравствуй, здравствуй, дружище!» Он бородат, неразговорчив, тяжел, неграмотен, и ходит в жизни ощупью — и все-таки попадает на верную дорогу. Когда, приехав в Овечий Дол, я обходил избы, он подвел ко мне дочь, Настасью, длинную девочку с мокрым ртом, с тускло блистающими глазами, в которых не поймаешь мысли. Дефек-

тивную. Попросил взять в школу — может, выровняется. Я ее взял. Горький ребенок. Всему смеется и всему враждебна, жизнь проходит перед ней как недруг, которого нужно во что бы то ни стало обмануть. Жиденькая косичка болтается на ее острых крылатых лопатках; ее босые ноги в вечном движении; когда она стоит, пальцы на них непрерывно шевелятся. Теперь я вожусь с ней, как с похилевшим растением, отставшим от соседей. С ней очень трудно, но я не теряю надежды победить. Шалости ее примитивны и порой удивительно злы. Ребята задирают ее, а она задирает их. Ключкин никогда не спрашивает меня о ней, только смотрит. Ничего, Ключкин, мы повоюем: вчера Настя уже сумела сосчитать до двадцати!

Секретарь сельсовета, молодой мужик Пахомов сидит ко мне боком, по-солдатски браво выкатив округлую, как бочка, грудь. Он служил в армии, и принес на деревню ту веру в новую жизнь, которая перелицовывает человека наново: он все смеется, будто ждет, что вот наступит день, когда он подомнет ногами тяжелую деревенскую дикость, и все осветится по-новому, и каждый сосед будет ему товарищ до дна. «Мы изживем, — говорит он, — косматых собак предрассудка!» Это выходит у него очень здорово. Еще он говорит: «на грядах ше-ка-ме дозревают красные крестьянские кочаны», — разумея под кочанами крестьянскую молодежь. Он единственный партиец в селе. Жена уехала от него к отцу, наполнив село воплями и раздирающими проклятиями, потому что он,

разложив на гумне костер, пожег на нем черные, как грибы, иконы — «долговечные доски мрака». У него есть сын, Костька. Мать увезла его с собой, но он вернулся к отцу. Он вернулся ночью, продрог и долго стучался в избу, — Пахомов, как земля, крепок на сон. «Ты откеда?» — спросил он, удивясь. Костька сказал: «Известно откеда, от матери». «Что ж так, сынок?» — спросил отец. Костька сказал: «Заели косматые собаки предрассудка».

Жена говорит мне, что, посади меня в навоз, я и оттуда буду говорить, что сижу среди цветочной клумбы. Перед моей переброской в Овечий Дол у меня вышел с ней один из тех разговоров, которых боишься: их боишься потому, что, раз начав, уже нужно договориваться до конца, что нельзя оборвать, или попросту уйти или, как в иной домашней ссоре, сдержать сердце, подойти и сказать:

— Ну, хорошая, как говорится: милые бранятся, только тешатся.

Из этого разговора я понял, что подозревал давно: что теперешнее наше бытие, наше строительство, наше воительство за справедливые формы жизни кажутся ей простой дракой у кабака, дракой за бутылку пива, то есть, дракой за порочную и гадкую жизнь. «Был бы еще коммунист, так обласкали бы. А то ни рыба, ни мясо, блаженный какой-то дурак». Ей наша жизнь кажется загаженным полем. «Мечешься, как угорелый: то ликпункт, то сельсовет, то кам-

пания по займу, а дети ходят голозадые. Хоть огород бы за школой разбил, как люди».

В такие минуты мне кажется чудовищным: я и она, живем вместе, ростим детей, мешаем друг-другу. Она меня не бросит никогда, потому что ей некуда уйти от моих сорока рублей и от того хорошего, что было в нашем браке в молодости. Я тоже не уйду от нее, потому что она не чужой мне человек, а полуголодная женщина, родившая мне пятерых детей, отдавшая мне теплоту своего тела и много лет подставлявшая это тело тем ударам, которые сыпались на меня со всех сторон. Чудовищно и безвыходно.

Когда изба-читальня опустела, Лизавета Ипатовна сняла лампу с потолка и поставила ее на стол. Ее лицо было устало, и от этого на длинных, слегка провалившихся щеках горел возбужденный румянец, — он был так ярок, что, кажется, поднеси спичку, и она вспыхнет.

— Вы говорили горячо, — сказала она, глядя на меня в упор, — только, мне кажется, нужно говорить проще, популярней. Особенно в конце. Ведь они иногда стесняются спрашивать из ложного самолюбия. Это не дети.

Ее взгляд иногда становится тревожащим: неотступен и прям. Тогда его хочется скинуть рукой, как приставшую к лицу паутину. Она мне кажется удивительной девушкой. Такая тихая, что ее неслышно. Ее можно принять за робкого человека, пожалуй не заметить. Но, едва уйдет, сразу понимаешь, что ее

характер большой. Будь я моложе, я сказал бы: она, как вино в стакане — на глаз бесцветно, а выпьешь — обожжет.

Мы разбирали анкеты, которые Лизавета Ипатовна провела среди крестьянских девушек, берущих из избы-читальни наши жалкие, разрозненные, затрепанные книжки. Сейчас ветер, блуждающий по чердаку, был слышен явственней; на селе началась перекличка собак; листы анкет, испещренные городьбой букв, шелестели в руках Лизаветы Ипатовны как шелк. Она читала их вслух и передавала мне, я сортировал их по признакам: беллетристика, политика, книжки популярно-научного содержания.

«Читать я очень уважаю. Как слободное время, то читаю. Только беда, книг не достать. Про многополе знаю, и про клевер знаю, и про кооперацию. Ну только не в этом дело предмета. Вот когда описывают про красивую природу и про любезное свидание и как они страдают и жисть друг про друга складают, — про это лучше всего. И сама бы так поступала до гроба жизни».

— Это писала Клаша Терентьева, — сказала Лизавета Ипатовна, передавая мне листок. — У нее очень убогая жизнь. Отец болен сердцем, мать побирушка. Братья пьяницы, дома драки и руганъ. Девушки тут отсталые, а эта... Она Евгения Онегина знает наизусть. Я вчера иду улицей, гляжу Клаша сидит на дубьях, одна, поджав ноги. Она напомнила мне кулика, того помните — некрасовского. Ночь темная, сидит и плачет.

Я хотел пошутить.

— Какой девушке любви не хочется!

Лизавета Ипатовна подняла на меня глаза, и они у нее дрогнули, поголубели, дерн ресниц закрыл их, как дым. И еще дрогнули у нее руки. Листок анкеты, виясь, упал на пол, она нагнулась за ним, и в это время через избу, пересекая пол от угла к углу, пробежала мышь. У нее была острая мордочка хищника. Лизавета Ипатовна вскрикнула, выпрямилась, мне бросилась в глаза мертвенная бледность ее лица.

— Испугалась... дура какая! — проговорила она, роняя слова, как тяжелые камни. Краска залила ее лицо.

Было поздно, мы заперли читальню и вышли в ночь, а ночи уже дышали холодом, и под звездами висела серебряная дымка, похожая на иней. И уже приятно становилось думать о том, что в избах тепло, плавает парное дыхание людей и скота, и тараканий шорох сух и тепел. Мы шли молча. У самых дверей школы Лизавета Ипатовна остановилась и долго поправляла свой джемпер, ловила пальцами пуговицы на необыкновенно длинных, вероятно модных нитках. Она жила на квартире отдельно от школы, посреди села. Мне стало беспокойно, как в канун несчастья или большой радости.

— Покойной ночи, — сказал я, протягивая руку.

Тогда она вынула из кармана джемпера листок бумаги и спокойно, медленным и певучим движением протянула его мне. Я ничего не спросил. Она повер-

нулась и пошла; слабая тень ее на дороге смешалась с тенью ветел. Дома я зажег лампу, — листок был линованный, с желтыми пятнами: у Лизаветы Ипатовны, видно, не было под рукой промокашки, и она сушила чернила на огне.

Она написала мне:

«Я поняла, что люблю вас, Алексей Михайлович, Лизавета Ипатовна».

II

Назавтра самочинно приехали в село окрестные священники — избираться. День был воскресный. Пахомов постучал в окошко. На его блестящих, как стекло, русых усах дрожали капли воды: бежал ко мне, торопился и мимоходом напился из корца.

— Попы приехали, двое. Чувасова мальчонка бегал по избам, скликал народ к церкви. Буржуазия мобилизуется, — вставай, Михалч. Хотят без общего собрания провернуть, поставить перед совершонным фактом.

Он был весел, его татарские глаза бегали плутовато. Про него говорили, что он лют на женщин, его корили этим в глаза и за глаза, но он не сердился, говорил: «без согласия, а равно обманом ни одной не тронул, а обоюдное никого не касаемо». Жизнерадостность его иногда бывала в тягость: создавалось впечатление, что человек этот ходит в жизни приплясывая, под гармонику и под песню. Я сам помню минуты — минуты усталости, когда мне тяжело бывало

с ним. Сегодня я ему обрадовался. Я обрадовался тому, что первая встреча с Лизаветой Ипатовной будет при свидетеле, и оттянется тот разговор, который у нас с ней должен быть, и к которому я приготовился за ночь.

Мужики поставили перед церковью, на круглой лужайке, простой кухонный стол, вынесенный из дома покойного священника, и застелили его мешковиной. Вокруг стола неплотной толпой сбились наши старики, принаряженные ради воскресенья, с расчесанными бородами; иные из них, среди разговора, вытирали усы белыми, как кипель, носовыми платками. Похожие на плесень, лежали на их лядных сапогах синеватые блики света.

Поодаль, ближе к ограде, теснились женщины, стоя плотно, локоть о локоть, тоже по преимуществу пожилые; под их подбородками, развеваясь по ветру как черные языки, подрагивали концы черных крапчатых платков. Коричневые руки их поминутно поднимались к лицам и горсткою утирали рты. Вдалеке у самого пруда, под сивыми ветлами, напоминающими гривы, безучастная к происходящему молодежь прислушивалась к ленивым ладам гармониста; он сидел на горюн-камне в голубой, великолепно расшитой рубахе, и гармонь лежала на его коленях как разнеженная и капризная змея.

Я огляделся: Лизаветы Ипатовны не было.

Или застыдилась? Уже давно я не гляжу на женщин с этой стороны, а на Лизавету Ипатовну и подав-

но не глядел. Мне стало досадно на нее, что меня, почти старого человека, у которого штаны уже висят мешкам на коленках, она, молодая девушка, поставила в такое смущенное положение. И теперь мне стало досадно на то, что она скрывается, и все то теплое, товарищеское, отеческое, что я приготовился ей сказать, я должен носить теперь при себе, как тяжелый мешок.

Сегодня мне недужилось: губы посохли, и до тошноты ломило голову: застарелая болезнь, как грязное белье, — его скрываешь, стыдишься, а оно нет-нет да и вылезет на белый свет.

Я поздоровался со стариками, когда сквозь расступившуюся толпу женщин из ограды вышли два священника. Впереди шел опухший, растрепанный, мрачный человек в досветла застиранном лиловом подряснике, который задирался к его коленям, как подол у беременной бабы; у него были руки молотобойца, красные и мозолистые, квадратный подбородок и засасывающей черноты тяжелые глаза. Исполненное скрипа дыхание его производило впечатление ветра. Со всем тем робость была разлита в каждом движении его грузного тела.

И/17868

Он шел, оглядываясь на своего спутника. Тот был так же велик, но в то же время необычайно, болезненно тонок, и при каждом шаге его тело как бы надламывалось, раскачиваясь, и жидкие волосы редкого золотистого цвета бились на плечах. Недобрые губы обнажали редкую полосу его желтых зубов. На ходу он опередил исполина и к столу подошел первым,

стал к нему спиной и, откинувшись на ладони, заговорил сразу, на церковный манер поющим, но резковатым тенором.

Первых слов его я не расслышал: мешали старики, закричавшие:

— Показывай себя, отец Василий, какой стороной богу молишься. Вашировцы сказывали, что грешишь вином: не надо нам пьяниц. Отец Кирилл, покойник, так зашибал, что иной раз неделю село требы ждет.

— Почему хочешь сбечь из Ваширова? Приход у нас, словно бы, помене.

Бесцеремонные вопросы не смутили отца Василия. Как только крики смолкли, я услышал его голос, наотмашь разрезающий воздух. Он говорил о том, что в Ваширове озорничает народ: каждый день в саду полно воров, а случалось, что хулиганы ночью гадят на крыльце.

— Об вас я слышал, что крепка де у вас вера христова. Обо мне, как об священнике, можете спросить моих прихожан, а самому мне здесь распространяться нескромно. С покойным отцом Кириллом я был в давнишней дружбе и через него знаю вас, как верных детей Христа. Я не как мелентьевский поп: не обираю.

— Это верно, — закричали мужики, — это слышали.

Пахомов как всегда весело подмигнул мне. Мужики теснее обступили стол, сзади волной нашли женщины.

Над толпой, как башня, возвышалась голова лохматого священника в лиловом подряснике. Было прохладно, но его широкий и огненный, как жаровня, лоб вспотел буйно и жарко. Рыжеватые веки его трепетно вздрагивали, скрывая болотный взгляд.

— Граждане! — закричал Пахомов, округляя грудь, одергиваясь и, видимо, наслаждась собственным голосом, — как нет у собрания председателя, то сбращаюсь ко всему вашему большинству. Как понимать нынешнее собрание? Я так понимаю собрание, что оно в порядке агитации и ни к чему неправомочно. Культ священнослужителей, по причине свободы религии и веры, может притти наниматься на вакантную должность, но факт нанятия решает общий сельский сход.

— Он и решит, тебя не спросится, — раздался голос.

— Он и решит, но только здесь, в порядке контрагитации, я заявляю, граждане, что часть граждан, и всеми уважаемый наш учитель и просвещенец Алексей Михалч поднимают вопрос о закрытии церкви и передаче ее под школу.

— Слышали!

— Отдали тебе церковь, отымай ключи!

— Отымать ключи я несогласный, а ежели будет на то приговор общества и подача заявления в соответствующий орган, то мы не постоим за базу просвещения в противовес дурману религии. Здесь я к тому речь веду, чтобы не обольщать служителей культа.

И уж ежели общество, по несознательности, оставит церковь, то вас позовут, а нечего зря наезжать на нерешенный вопрос.

Он задорно, через дергающиеся веки посмотрел на рыжего священника, который стоял с неподвижностью камня, по-актерски вскинув подбородок. Толстый священник наклонился и в растерянности придержал полу подрясника, бившуюся на ветру о его старые морщинистые сапоги.

— С вами не говорят, — проговорил, наконец, рыжий священник, — а говорят с верующими, которые заинтересованы в сохранении церкви.

— Не говорят с вами, — откликнулся грузный.

Голос его был широк, как поле.

— А придется. Алексей Михалч, освети им вопрос.

Я вышел вперед и, внимательно выбирая слова, сказал, что на сходе от имени ребят и передовой части крестьянства подниму вопрос о передаче здания церкви школе. Церковь маленькая, деревянная, древняя; на первых порах можно будет обойтись без ремонта, а топлива она возьмет немногим больше, чем изба Павла. Я старался говорить спокойно, не раздражая стариков, которые все до одного относились ко мне враждебно, хотя открытого раздора между нами не было. Пахомов шумно и весело мне поддакивал.

Его веселость казалась мне не у места и мешала говорить. А говорить мне на этот раз было отчего-то трудно. Расчесанные бороды стариков, благообразно

разметавшиеся на поддевках, блестящие козырьки их картузов, умытые и красные, как гусиные лапы лица вдруг налезли на меня, обрушились. Я понял, что меня треплет малярийная лихорадка, и поэтому я трудно говорю и досадую на веселость Пахомова.

В ту же минуту, не обрывая речи, я подумал, что застудил себя третьего дня на реке, когда мы вместе с молчаливым Ключкиным ходили с бреднем. Вода была синяя, в серебряных чешуйках ряби, и по ней, как поземка, шел ветер, низкий и пронзительный. Тогда, стоя в воде по брюхо, я разглядывал свои ноги, желтые, тонкие, старчески дряблые, и еще подумал что такими ногами недолго ходить человеку по земле.

— Мне что-то недужится, — сказал я неожиданно среди полной тишины. Видимо, я уже долго стоял так, молча. После того, как я это сказал, тишина продолжалась еще минуту. Подняв глаза, я увидел на воротах ограды, погнивших и осевших, пичугу, воробья, нахохленного и злого: он трещал перьями, получался звук: фр-р-р-у.

— Ступай, ступай, Михалч, ляжь, — дернул меня Пахомов за руку и вывел из толпы. — Ляжь, ступай, я договорюсь с ними о сходе.

Я спустился со взлобка на дорогу и пошел, и все поохивал. У боковых ворот ограды стояла лошадь священников, запряженная в новенький тарантас с соломенным кузовом и с красными стрелками на рессорах. Я уже не сомневался, что ко мне вернулся припадок малярии, подхваченной лет шесть назад у Черного

моря. Первый день я сопротивляюсь болезни. Я беру в руки метлу и грожу ей, стращаю вымести из избы вместе с сором. Но, грозясь, я уже знаю, что во мне самом сидит червь лютой собачьей тоски. К вечеру червь добирается до сердца. Он пьет из сердца мою кровь, которая теперь, на сорок восьмом году жизни, хочет кипеть так же горячо и круто, как у молодого. Болезнь уже не боится моей метлы. Ей наплевать. Лежи, как пень, и бейся в потном ознобе. Я знаю, что здесь, на деревенском посту, меня заменить некем. Пахомов подымет на смех попов и озлобит мужиков, и в церкви, где мы устроили бы классы, выставку, публичные чтения, зазвонят колокола, и старухи, которым уже нечего ждать от жизни, отнимут стены у ребят, перед которыми раскрыта вся жизнь.

Перед началом занятий я собрал родительскую конференцию. На этой конференции Матрена, баба пытливая и серьезная, сказала мне, чтоб я не водил ребят по мельницам да просекам, а учил бы писать и арифметике. Я рассказал ей, что такое комплексы. Я хорошо разъяснил ей это, и мне все поверили. А через неделю она снова пришла все с тем же: что, мол, таскаешь ребят в лес, они лес без тебя знают, какое это ученье! Я еще раз разъяснил ей, и вот до сих пор она не ходит и ребят не ругает. А заболей: со всех углов, как тараканы, выползут сомнения, сомнения перейдут в недоверчивость, — встанешь после болезни, и ребят не узнать, — уже не свои у них глаза, а родителевы.

Дотащился до дому. В сенях встретился Павел, подмигнул:

— Твоя сидит.

Лизавета Ипатовна. Поглядела на меня исподлобья. Плечи поднялись и опустились. Хорошо, будем говорить.

— Что с вами, Алексей Михайлыч, родной?

Ага, я вам родной — так вы меня слушайте. И не надо на постели одеяло откидывать, сумею откинуть сам. Так вот, Лизавета Ипатовна, прежде чем говорить о чувствах, должен вам доложить, что я в молодости совершил ошибку, которая неисправима. Совершеннейше неисправима. И, прежде чем сидеть на дубьях при луне, подобно известной вам Клаше Терентьевой, надобно вспомнить о том, что мне сорок восемь лет, что я честный общественник и строитель новой школы, и что люди моего склада привыкли нести ответственность за свой каждый, пусть и ложный шаг. Конечно, я уже отстал и не знаю, как теперь модно любить, и может быть все это с вашей стороны одни девичьи уловки и баловство. Аспирин у меня, конечно, есть, но при малярии лучше глотать хину. Я укроюсь сам. Я сам, все это маленькие пустяки. И если моя жена, шагавшая за мной по всем тем тропинкам, на которых я искал ч е л о в е к а, мешком висит на моих старых плечах теперь, когда я нашел не каких-то там отдельных людей, прекрасных, совершенных, поборников святой правды, а к л а с с, ведущий за собой человечество, — все-таки это не значит, что я смогу

бросить в пыль мать моих детей ради вас, хоть вы и молоды, и носите сапоги одной со мной мерки. Об этом мы будем с вами говорить потом, когда во мне не будет раздраженности. Эта раздраженность от малярии.

Всякий раз, когда я заболеваю малярийным припадком, — а заболеваю я теперь редко, — мне, как мальчику, примерещивается усатый, насмешливый маляр в сапогах, заляпанных известкой, с длинной кистью в руках, похожей на огромный тяжелый безмен. Этот маляр все допытывает меня и все не верит, потряхает своей кистью, с которой падает клейкая голубоватая известка, и запугивает: а вот, дескать, я тебя смажу по роже. И, уже застращенный, я хрипло говорю ему: «не надо мазать, и я — маляр!» И если переставить эти слова в обратном порядке, то получится: маляр-и-я. Такая чушь!

Чорт возьми — рассвет уже просунулся сквозь стекла. Лизавета Ипатовна, сидя у подоконника, устало закрыла глаза. Голова ее двигалась в лад дыханию.

III

Я помню себя шестнадцатилетним парнем, застенчивым до болезненности, в картузе с лакированным, потресканным, как старое зеркало, козырьком и в розовой рубахе: на фабрике к празднику давали штуку сарпинки, и мать нашивала рубахи на всю семью, впрок. На фабрике, в квартире старшего инженера, я состоял в кухонных мужиках, работал с зари до

зари, а ночевал дома, у отца, в длинном кирпичном здании, где правление настроило квартиры-клетушки для старых выслужившихся рабочих.

Окна квартиры выходили в палисадник. В палисаднике росла пессимистка-акация, черная от копоти, не знающая среди каменных стен ни солнца, ни ветра. Ее иссушенных стручков не клевали воробьи. В кустах этой акации был лаз, и по ночам ко мне в окошко стучал Сергунок, табельщик. Они мне верили. Через Сергунка, табельщика, они давали мне мелкие поручения по связи с соседним паровозо-строительным заводом.

Отец, мастер в цеху, правил семьей, как ямщик правит тройкой, — с щегольством, на-показ. Радимовы на фабрике были династией, перед которой рабочие ломали шапки. У отца было широкое тело и маленькая голова на длинной, как стебель, нетвердой шее; свое слово он расценивал на вес золота; он не пил, не дрался, а его уверенный, самолюбивый характер лежал на плечах семьи, как земля. Он по праздникам, перед обедней, выходил на кухню чистить штиблеты, а мы, братья, стояли в очередь, и здесь он тихим и шелестящим, как сухой хворост, голосом читал нам наставления жизни, потому что в будни было некогда. Сапожная щетка, подобно маятнику, летала в его руке, распространяя свежий запах гуталина и оставляя на штиблетах блистающие оконца света. Матери было не слышно в доме. Она была как бы бестелесна. И оттого создавалось впечатление, что

все в доме свершалось само собой: сами перемывались тарелки, чинилось белье, подметалась пыль, и по праздникам, пористый и смуглый, как спина человека, выспевал пирог.

Братья уже работали на фабрике, а я добился того, что отец позволил мне готовиться держать на аттестат зрелости. Я хотел быть учителем. Я хотел ехать в глушь, непременно к инородцам, к челдонам или чувашам, и поднимать темный народ над болотом, в котором он завяз смолоду. Покуда я готовился, отец определил меня к инженеру на кухню, чтобы я нес деньги в семью. Я готовился ночами, и ночами читал книги, которые приносил Сергунок. В моей голове бушевала нестихающая буря. Мой мозг был раскален, как плита в инженеровой кухне. И я был похож на бочку, набитую камнями, — ее только толкни, и она покатится невесть куда, оглушительно ухая, пока не рассыпется вдрызг.

Не знаю, как в те годы, раздираемый страстью все знать, все впитать и везде быть полезным, я не сгубил себя.

В учобе мне помогла учительница фабричной школы, Валентина Борисовна. Она недавно была назначена к нам. Она была тоненькая, с прозрачным лицом, с рыжеватыми волосами, с тонким голосом, напряженным до того, что в нем слышалось рыдание. Бледная, как небо зимой, она была полна жизни, любила наряжаться, у нее была изумительно обильная переписка с друзьями детства, и каждую неделю она

ездила в Москву в театры и концерты. И как-то вышло само собой, что, выдержав экзамен при московском учебном округе, я был назначен в нашу фабричную школу. Инженер, у которого я был кухонным мужиком, стал подавать мне прохладно-безразличную руку, а Валентина Борисовна сделалась моей сослуживицей; я слышал через стенку, как она напевает, шелестит книгами или декламирует стихи.

И вышло как-то само собой, что я стал мечтать о Валентине Борисовне, как о своей будущей жене. На фабричное место я глядел, как на временное: мать, у которой я был любимцем, становилась плоха. В сущности, я только ждал ее смерти. Подходили тревожные годы. Я не примкнул ближе к движению, но поручения, которые я получал через Сергунка и — реже — через Валентину Борисовну, выполнял с горячим прилежанием. Быть может, во мне не хватало темперамента бойца и революционера. Я попрежнему мечтал о челдонах, о работе в народе, о тихом подвиге народного учителя. Валентина Борисовна была добра со мной. И в один хороший день я додумался до простой мысли, что все ее наряды, оглушительная любовная переписка и выезды в Москву только личина, которой она прикрывает свою подпольную работу. Этот день был днем, когда я поверил ей всецело. Этот день был разнеженно теплым, небо горело в закате, и над трубою фабрики, стеклянея, стояло перламутровое облако, формой напоминающее счастье. Ну, в тот день счастье

для меня имело конкретное очертание: оно было огромно и блестяще.

Потом я помню черное похмелье пятого года. На фабричном дворе лежал грязный утоптанный снег; вечер темным дымом стоял над ним; падал снег, редкий и широкий, как листья; за его подвижной, шевелящейся стеной, подобные кладбищенским склепам, высились корпуса, охваченные молчанием; на черных рельсах бескрыло застыли вагончики кукушки, как путники, замерзшие среди поля; от бремсбергов, от конусов шлака, покрытых снегом, нисходило молчание смерти; солдат в косматой папахе настороженно стоял у восточной стены, разведя носки набухших сапог; солдат сторожил трупы, свалснные у стены на зеленоватом от оттепели снегу; у солдата изо рта, как из кипящего чайника, вылетал пар.

Среди трупов, жестоко брошенных под стеной, я видел труп Сергунка.

Валентина Борисовна имела влияние на директора, — во всяком случае, она была принята в его семье, и, конечно, только благодаря ее заступничеству, я не был схвачен. Я оказался на мостовой. И та жизнь, которую я вел два года, жизнь растерянного человека, тупеющего от голода, теперь мне омерзительно вспоминать.

Размеренным и скучным голосом, в котором я не подслушал даже волнения, отец сказал мне, что я подобен ядовитой змее, пригретой на семейной перине Радимовых. Он постарел. Горькая как соль седина

легла на его самоуважаемые усы. В спальне, запертая на ключ, плакала мать. И вот, я сошел по каменной лестнице, на которой пахло шваброй и моим детством. Я ушел в российский мир, из конца в конец перепоясанный городьбой виселиц. Я помню Одессу, зимнее море болотного цвета, пасмурные тела военных кораблей. Сергунка сглодала мерзлая земля, а Валентина Борисовна, — где была Валентина Борисовна, моя незадавшаяся радость?

В ту пору я искал человека, учителя, апостола совершенной жизни. Я разуверился в политической борьбе, приведшей, как я исповедывал тогда, к бесполезным бесчисленным смертям. Ранним летом, поднявшись с одесского дна, я поехал в Ясную Поляну, чтобы говорить с большим человеком и в общении с ним укрепить свою новую веру.

Граф был болен, никого не принимал. Я остановился в деревне, в грязной хате, полной детей и голодных тараканов, у бабы Авдотьи Петровны, которая ходила на графскую усадьбу, чтобы у кухонной плиты, судомойкой, заработать шесть рублей в месяц, на своих харчах.

Она встретила меня иронически:

— К графу, вижу, пришел бога менять?

Она была в темнозеленой юбке, вздутой горою на ее оплывшем животе; дерюжная кофта на железных пуговицах сдерживала жидкий напор ее грудей; пахнущей кухнею платок опоясал ее утиное разбитное лицо.

Я промолчал.

— Нынче на вас урожай, — продолжала она, усмехаясь, — принаперло народу кто откуда: кто с Рязани, кто с Сибири, кто с Малороссии. Все бога менять. Живут у нас по избам христа-ради, покуда граф к себе допустит. Ходят как слепые и завидуют: вам, дескать, яснополянским, хороша жизнь, вам его сиятельство и на сруб дасть, и дровишек дасть, и на крышу железную, придет нужда, тоже дасть. Хороша, говорят, у вас жизнь. Ты слушай, слушай! Я вот у плиты стою, так чтобы хоть раз обедать дали — не было такого раза. Улучишь минутку и сорвешь блин под печку. Так тем блином, бывает, дети целый день сыты.

Мне было оскорбительно ее слушать. Я прожил в Ясной Поляне около недели, но графа так и не дождался. Толстовство мое недолго держалось во мне. Теперь мне ясно: я учился самотеком, срыву, набивая свою голову, как вор, всем, что попадет под руку. Потом жизнь откидывала вредное и лишнее. Так я жил, покуда снова не свернул на старую дорогу, политую кровью Сергунка, умятую ногами моего класса. Человек, способный перестроить мир, все не отыскивался. В эти, примерно, годы, уже незадолго до войны, вера моя в чуждого по классу человека претерпела оглушительный удар.

В Киеве, на Крещатике, я торговал газетами. Золотые дни, как птицы, плавали над Киевом, и вечерами Крещатик, залитой огнями витрин, бурлил разодетой толпой, полный счастливых голосов, шур-

шания женских юбок; из Купеческого сада несся серебряный звон оркестра. Женщина в белом костюме подошла ко мне купить газету. Маленькая мохнатая роза была приколота к ее груди. То была Валентина Борисовна.

Она не удивилась мне, только покачала головой: ее смущали и, кажется, сердили мои отребья. Лицо ее, со времени нашей разлуки, утоньшилось, стало резче и тревожней. Голос ее был полон изобильных интонаций. Ее красота отталкивала: в ее красоте была пугливая какая-то наглетца.

— Продаете газеты! — сказала она, разыгрывая безумный ужас. — Ай, какой бедный!

Ей было неловко разговаривать с газетчиком на улице, но и не хотелось позвать меня домой, — вероятно она жила в очень роскошном доме. Мне хотелось от нее уйти, но я откликнулся на ее знак и следом за нею вошел в темный переулок. Горели зеленые фонари. Она ни о чем не позволила себя расспрашивать. Она предложила мне место филера: в ту пору искали комитетчиков.

Я ее не видел с тех пор. Я узнал, что она была женою жандармского полковника.

Позже, в Москве, уже служа в частной слесарной мастерской, я женился на тихой малокровной девушке, белошвейке, с пустыми голубыми глазами и пальцами в точечках игольных уколов. Я очень устал к тому времени. Недолеченная чахотка часто обострялась. С новой силой потянуло меня в школу, к ребятам, к делу,

которое было единственной любовью моей жизни. Но эта дорога была закрыта передо мной. В своих штанах, в кармане, я таскал волчий паспорт. Я работал в мастерской, работа была нетрудной, в свободные часы я раскрывал книги и читал Марусе, жене. Я любил ее за беспомощный, робкий характер, за ее восприимчивость, за ее безрадостное, гнилое, жестокое детство, детство ребенка из рабочего поселка, затопленного вином и нуждой. У нас были книги «интересные» и книги «нужные». Счастливый женским теплом, я просмотрел в Марусе нового, помимо меня дозревшего человека. Быт соседей, дружба подружек из белошвейной оказались сильнее меня. Эти книжки, которыми я собирался властвовать над ее умом, она обратила в оружие против меня: она смотрела на них, как на мою слабость. Когда она добивалась чего-нибудь, она говорила:

— Сделай, Алексей, сделай! Зато мы сегодня почитаем.

А уже гремела война, и заводы были охвачены дрожью, памятной мне с пятого года. В революцию мы уехали на родину жены, на Волгу. Там, на Волге, я помню пылающий город, офицеров в щегольских колясках, треск пулеметов и зарево в ночном небе. Нас расстреливали толпами. Раненого и беспамятного, жена везла меня на тачке через город, охваченный восстанием, чтобы спрятать. Она прикрыла меня рогожей. В сыром подвале я пять дней истекал кровью. Открывая в полубреду глаза, я слышал рев орудий,

несильный и тягучий, похожий на волчий вой. Я видел профиль Маруси, освещенный заревом. Подняв голову к высокому окошку, она глядела на небо; она держала в руке кусок хлеба, который подносила ко рту и тотчас же опускала, не откусывая. После этого я долго валялся в городском лазарете. Затем я уехал в деревню. Я не работал, я горел. В эту счастливую пору, у нас, один за другим, пошли дети.

Маруся, что сталось с тобой? Мы стареем, изнашиваемся и строим небывало прекрасные формы жизни. Очертания этой жизни порой, в минуты наивысшего подъема, отчетливо видны мне из-за лесов нашей героической стройки. Маруся, ты видишь одну пыль, которою окутаны леса. Щебень летит вниз и слепит глаза. Твои глаза злеют. Я упустил тебя, и теперь уже поздно, — мы стары для личного счастья, и наша семья безобразна как болезнь, против которой еще не найдено лекарства.

Маруся стояла у закуты. На ней была просаленная кофта и сбитые полусапожки с вихрастыми ушками. Держа в руках меньшого, она говорила:

— Хорошее повышение, здравствуйте пожалуйста, зеленокудрый май! Оклад одинаковый, хоть и опорная школа, так здесь хоть тридцать три рубля семьдесят пять копеек оставалось чистеньких. А там за квартиру гони шесть рублей, за дрова три рубля, какая, скажите, прелесть, зеленокудрый май! Небось, зав живет с женой, получает сто рублей, услаждает

себя музыкой. Ее, полуграмотную бабу, устроил учительницей, а ты вот последних кур режешь.

Там, в старой школе, я начал разводить породы. Теперь я их резал: в селе больше пятиалтынного за штуку не дадут. Я резал кур и слушал жалобы Маруси.

Я сказал ей добрым голосом:

— А помнишь, Маруся, как я в подвале раненый лежал? У тебя в руке был ломоть хлеба, а ты не ела. Ты глядела на зарево: весь город горел.

Она сказала всердцах:

— Здравствуйте пожалуйста, вспомнил! Мало тебе в нашей жизни дерьма: опять зарева захотел!

IV

Два события значительной важности.

Первое. В то время, как меня колотила малярия, Лизавета Ипатовна и Пахомов отстояли церковь под школу. День этот я кое-как помню. Раздернув занавеску, я поглядел на улицу. С моего тела ручьями лил пот, и улица моим лихорадочным глазам представлялась желтой. По улице Лизавета Ипатовна вела ребят: они шли шеренгами, как городские пионеры, и Костька Пахомов нес впереди на палке кусок желтого картона. Ветер прогибал картон, как кровельное железо, и от этого на нем шевелились буквы:

ТРЕБУЕМ ЦЕРКОВЬ ПОД ШКОЛУ!

Лизавета Ипатовна шла сзади последней шеренги. Только что прошедший ливень обратил улицу в

болото. Башмаки Лизаветы Ипатовны обмотались глиной, она тащила их, как бревна, и в ее волосах запутался ивовый лист, уже пожухлый и желтый. Я устал смотреть на них, лег в постель и много бредил. А теперь у меня в кармане общественный приговор о закрытии в селе Овечий Дол церкви и о передаче ее под опорную школу, — и я еду в город подавать заявление в уоно.

Второе. В неслыханном количестве проявился в округе червяк-гусеница лугового мотылька. Огороды и большая трава гибнут. Весной наши луга пенились травой кудрявкою, и жил в них кузнечик, легкое созданье на коленчатых, как ломаная соломка, ножках. Сухой разговор кузнечика можно было слышать в ясные погожие дни. В пасмурные дни, как летучие мыши, носились по лугу тени облаков, на луга медленно ложился дождь, зеленый цвет травы мрачнел и обращался в синий; синий туман разгорался тогда над травою кудрявкой.

Теперь большая трава поедена, и под косу легли больные листья, похожие на женское рукоделье. Больше же всего пострадали огороды. Для того чтобы бороться с гусеницами, надобен хлористый барий. Заодно я поехал и за барием.

Но в городе сказали, что бария нет: весь роздали крупным совхозам, укрупненным хозяйствам и артели городских огородников. Я вышел из земотдела разгоряченный и дрожащий: во мне еще сказывалось похмелье после болезни. Был солнечный, почти горя-

чий день, над городом, над немощеной площадью плавала ленивая пыль, у голубых тачек мороженщиков толпились дети.

Я прошел в уоно, и здесь меня подозрительно быстро принял заведующий. Я встречался с ним до того раза три, а в последний раз, когда меня перебрасывали в опорную школу, написал по его просьбе календарный план для учителей. Белые как пена усы свисают на его еще молодые щеки, а сам он непрерывно дергается, и на его руки неприятно смотреть: то схватится за пепельницу, то обнимет ствол лампы и мнет его, как папиросу.

Его фамилия Вайсбейн. Он прислан к нам из центра. Рассказывали, что в дальнем прошлом он был избит осатанелыми тюремщиками и после этого два года сидел в желтом доме. Сейчас это человек всемерно уставший и чересчур для партийца доверчивый.

— Ну, вот, ну, вот! — сказал он с мягкой глухотцой, — вы здесь, а вчера к вам инспектор Громин поехал. Да, да, Громин поехал. Да да, вашу школу обследовать.

Он снял с лампы зеленый абажур и, поднеся его к близоруким глазам, стал разглядывать на свет. На абажуре стремительными спицами засверкало солнце.

Я спросил:

— Чем обязаны такой чести?

Бросив абажур, он сложил руки у живота и, скосив голову, посмотрел на меня доверчиво и добро. Потом он тронул меня за рукав.

— Вы у меня на лучшем счету, голубчик. Но у вас какие-то неполадки. Между нами, от населения поступила на вас жалоба. Да, да, целый обвинительный акт, но все распутается, и вы дадите объяснения.

Эту жалобу он мне тут же дал прочитать, заложив дверь на крючок. Он вынул из папки толстые, цвета загорелого тела, старые листы контокорентной бумаги, на голубых и красных графах которой чей-то злой, задыхающийся почерк облил чернильной грязью не только меня лично, но всю нашу учительскую общественную работу. Есть люди слепые, враги по темноте. И есть негодяйчики, враги классовые. У меня нюх старого пса, бывшего в добрых драках. Я с первых строк узнал это визгливое неистовство, эту ненавидящую дрожь в р а г а. Я читал спокойно, откладывая прочитанные листы на столе перед Вайсбейном. Стол медленно качался передо мной. Дым папиросы, которую Вайсбейн курил мелкими затяжками, вызывал во мне слабое головокружение. Но я читал спокойно.

Вайсбейн желтым вздрагивающим пальцем отчеркивал отдельные фразы.

В р а г писал.

«Весь прилагаемый при сем материал собрат на правде-истине от темени до самых копыт. Но мне серьезно хотелось бы во всеуслышание крикнуть, что пора положить предел ненормальностям. В этом теперешняя моя цель и в этом будет заключаться тогдашнее мое торжество. Поймите, что учителя ошалели от лишения дисциплины труда и неразбери-бери. Это лучшие.

А худшие, вроде моих героев, имена которых я привожу неприкровенно, учли положение по своему и по своему лодырничают.

А есть это учитель Алексей Радимов и учительша Лизка Оганесова.

Оттого и получается, что у лучших учителей ученики теперь получаются более бойковатые, но менее отягченные знанием, чем прежде. А про лодырей и говорить нечего. На-днях я слышал от одного крестьянина, который в сельсовете сказал: «Да ведь это ж... они дьяволы только таскаются по собраниям, а дела не делают. Только топку жгут, будь они прокляты!» И в таком роде выражаются про них решительно все в нашем селе. А вот заставить бы их заниматься своим непосредственным делом, пожалуй лучше было бы. А то ни богу свеча, ни чорту кочерга.

Ни в школе от них проку, ни в общественной жизни толку. Только правда, что топку жгут. Только глаза людям мозолят, только досаду возбуждают.

Р. Р. 3. Наша Лизка была раньше учительницей в дер. Яма, Сосенковой волости. Во время минувшего съезда один кр-н этой деревни, депутат съезда, мне говорил, что они ее от себя прогнали. А другой рассказал, как она в Яме пьянствовала и даже (зачеркнуто).

2-й Р. Р. 3. Для яркости картины и невыносимого положения излагаю дело и героев в виде фельетона-разговора.

ФЕЛЬЕТОН-РАЗГОВОР

— Здоров, братухан!

— Здрасте, Ипполит Кондратьич.

— Живой?

— Слав те Христос, жив.

— Что это нонче — праздник?

— А что?

— Да как же, смотри, ребята с горы катаются.

— А это в сельсовете предвыборное совещание, и Лизочка и Михалч сидят там прочновато, а дети отпущены. Дети погодят, над ними не каплет. Перевыборы на носу, а учителя, Симоны-Гулимоны наши, невричают. Мало их, которые теперь в президиум сельсовета стремя держат! Туда спроста не попадешь, каждый теперь норовит подъякать тех, которые поздоровей кричат на собраниях.

— Ну, хорошо, ученики-то зачем на горе, а не в школе? Задницы об траву сдирают.

— А потому, что учителя в совете. Я оттуда, видел. И Алексей Михалч, и Лизочка, оба там сидят. Сидят Алексей Михалч, и Лизавета Ипатовна, или попросту Лизочка, а то и еще проще Лизка и папиросы курят: то-же, чле-ны! А ребята в это время катаются.

— Здравствуй, дядя!

— Здорово, ребяточки! Что ж это распраздновались?

— Нас, дядь, отпустили: теперича в сельсовете дела.

— Это хорошо.

— А то разя плоха? Вали! Шей, наша! Дай, дядь, подсолнушка, я тебе прикаску сточаю!

— Точай, послушаю твои школьные прикаски.

И школьник точает, ухарские притоптывая стоптанными сапогами:

Под горою журавли,
На горе дрохвы,
Сошлися, подрались,
Усе передохли!

И тут же другой:

Пошла барыня плясать,
Хорхорами потрясать,
Хорхоры трех, трех,
А собаки брех, брех!

— Сторонись! Ух, ядрена Матрена! С дороги!

С такими и подобными ораньями жигают ребята мимо с горы.

— Опять не учитесь?

— Не учимся, дядя. Алексей Михалч с Лизкой протоколы шуруют, а нас распустили.

Удивление, други милые! Грамотных молодых ребят по селу сколько хочешь, если поиметь в виду тех, которые стремя держат в секретари сельсовета и лякают жижкой кустарного производства общест-

венных крикунов. Им бы, значит, и протоколы переписывать. Ан нет. За зря горит народная топка. Горят народные денежки и горит народное дело без последствия.

Выборы. 3-й сельский участок собрался в школе.

Учителя сидят, опустивши носы. Их никто не называет.

Глянь из женского кутка какая-то разрумяненная деревенская красотка негодуя:

— Ах, антихристы, ды что ж они Алексея-то Михалча не кричат?

И кричит сама:

— Радимов хорош!

Ишь ты, девичий ставленник. Видать, старый, угодник для них. А Лизка-то нынче утерлась. Не выбрали.

— Ну, да она не промах, она на другом участке вотрется.

И действительно, мы увидели, что Лизка на другом участке втерлась в сельсовет, если не в члены, то хотя в кандидаты пока. А дальше Лизка эта самая как и попадает вертопрашке, еще куда-нибудь поспеет, например в селькрестком или еще куда-нибудь, где вообще можно бывает на халябину выпить и закусить, на что она не отказчица.

— Что это вы, ребята, аль ученья у вас нет?

— Нету, дядя!

— Отчего?

— Учителя в Карнизово ушли. Они на эту, как бишь это...

— Ну какую?

— Да хто ее знает... не выговоришь... на конфету похоже...

— Конференция, может-быть?

— Вот, вот, дядь, на эту самую!

— Ребят!

— Что, дядь?

— Что ж вы не учитесь?

— Да эта...

— Какая?

— Ды, дядь, учитель ушел у потребиловку на ревизию. Два дня там пробудя. А нас Лизка немножечко поучила, ды отпустила.

Правда — посещение конференций, совещаний, съезда учителей может-быть и обязательно. Ладно! Но втираться нарочно в совет, да еще так, что если выгонят в окно, то я влезу в другое, нет, это не обязательно и совершенно никому не интересно, кроме этих самых назойливых мух, этих лодырей.

А ведь жалованье-то они получают круглый год, и жалованье не плохое. Эх, плачут народные денежки, получаемые подобными лодырями за их, с позволения сказать, работу!

«Прилагаю при сем просьбу крестьян о переброске от нас этих Симонов-Гулимонов и прошу принять во внимание. И совсем не по тем мотивам, по каким чеховский гимназист, переехаиный подводой и по сему пропечатанный, увлекаясь этим обстоятельством. А в торжество нашей крестьянской справедливости. По поручению крестьян селькор села Овечий Дол».

Я положил последний листок на стол перед Вайсбейном. Он беспокойно расстегнул пуговицу толстовки, зажал ее между пальцами и приложил к ладони, как печатку. Потом, страдая за меня, он спросил:

— Что же вы на это, голубчик, скажете?

Меня замутило:

— Скажу вот что. У Чехова в рассказе не гимназиста переехало подводой, а коллежского регистратора. И зовут его Митя Кулдаров.

Пуговица под пальцами Вайсбейна лопнула. Ее обломки, похоже на скорлупу, упали на папку с белыми, как у подштаников, тесемками.

— Я знаю, — сказал Вайсбейн, — что вам все это неприятно. Но каждый общественник отвечает на критику своей работой. Да, да. Обследование покончит с этим делом. Вы не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь, товарищ Вайсбейн, и критики не боюсь. А грязными наветами на меня, исходящими от врагов строительства, я только горд. Вам-то мне говорить об этом нечего. Вся печать кричит об обострении классовой борьбы. Там собаки схватились в последний драке, не то что люди. Мы, просвещенцы,

не из окошка на эту драку глядим, мы, товарищ Вайсбейн, принимаем удары. Не вам про это говорить. Вы вот не изволили спросить, с чем я к вам приехал. А я приехал в вам с заявлением общества о передаче церкви под школу, — вот с чем я к вам приехал, товарищ Вайсбейн. Вот наше заявление. Подписи под ним словно бы другие, не те, что под жалобой на меня. Так сделайте, товарищ Вайсбейн, выводы, какие такие граждане хотят меня гнать из школы!

— Ну, ну, голубчик! — проговорил Вайсбейн испуганно, обеими руками, как блюдце с водой, схватив заявление. Сам себя я не видел, но думаю, был страшен в ту минуту нашего разговора.

— Год назад они нас с обрезом в кустах подстерегали. Теперь их политика тоньше. Теперь они в наших собственных поддевках ходят. Рабкор села Овечий Дол, вона как, милые товарищи! Я не тем разогорчен, что они меня лают, а тем, что вы на этот лай, меня не спросясь, отзываетесь. Я не с улицы в школу пришел, я восемь лет вместе с вами, товарищ Вайсбейн, низовую советскую школу делал!

— И может неладно мне сейчас так говорить, — продолжал я, не слушая Вайсбейна, — а от горечи скажу. Я за свои слова отвечаю. Фельетон этот от Павла идет, моего хозяина. Я не знаю, кто его писал, может, это его брат писал, который кончил весной педтехникум. Ему, этому брату, хочется в родном селе устроиться. Вот и вся музыка. А инспектор Громин их дальний родственник. Момент хороший: старики

злы на меня за церковь. Очень хороший момент, товарищ Вайсбейн. Так сами посудите, какое теперь там, без меня, происходит обследование. А затем прощайте, товарищ Вайсбейн, будьте благополучны.

И уж того, как я сдергивал крючок на двери, — не помню.

V

Павел подошел с ухмылкой. Такой ухмылки я не встречал у людей: она у него целомудренна; чуть-чуть раздвигаются усы и показывают губы бабьей нежности; их рисунок даже приятен; но глаза выдают юркую, неопрятную, лицемерную мысль. Двойственный человек!

В школе, вижу, были о н и. Шкафик открыт, створки распахнуты, обнажая нищету полок; ученические тетради брошены кое-как; из них, как розовые языки, торчат полоски промокательной бумаги.

Он говорит своим стреляющим голосом:

— Нуте-с, приехали, запоздно, туда сюда, полистали тетрадочки. Листает он тетрадочки, а сам все морщится. Лизавета Ипатовна ему слова, однако, он отмахивается. Теперь собрали собранье в избе-читальне, созвали родителев. Однако, я не пошел. Не пошел я. Я вам, Алексей Михалч, верю, а там пущай как общество хочет.

В дороге меня прохватил дождь, но я не сменил пиджака и прямиком пошел в избу-читальню. Когда я ехал полем, я все глядел на телефонные столбы;

ветряной гул их был густой, тягучий, как засахаренный мед; голова моя была полна этим тяжелым медом, и мысли вязли в нем, как осы, оглушенные бедой. Снимаете с работы? Ладно-с. Может, отставите в чистую? Как непригодного и вредного работника на просвещенской ниве? Очень хорошо-с. Мои промокшие коленки дрожали. В школе, на крыльце, сидели две бабы, кутали подбородки в платки. Они поглядели на меня с жизым любопытством, как на японца или пьяницу.

Одна сказала:

— Решают там тебя, Михалч. Будь здоров.

Я открыл дверь и, под взглядами оборотившихся на меня людей, сел на скамью, под цветным, вопиюще ярким объявлением о подписке на «Красную ниву». Народу было много. У дальнего столика пожилой осиною качался инспектор Громин, мужчина сухой, с неотчетливым лицом, до блеска бритым. Он говорил, подкидывая на ладони брелок от часов. Он взглянул на меня ожесточенно и резко. Рядом с ним сидел представитель упроса, мне незнакомый, человек сонной внешности.

Главное было сказано. Крестьяне нешибко шумели, только раскачивались на крик. Запах промокших сапог, продрогшей дерюги свисал с потолка, как туча, готовая пролить дождь.

— Вот он сам подошел, — плавно и легко разбрасывал слова Громин. — Здравствуйте, товарищ

Радимов, мы тут про вас. Так вот, надо брать быка за рога: довольны вы им, граждане?

Я уже вижу одни затылки в картузах, в валеных шапках, в платках, поддернутых спереди, как коки. От затылков летит:

— Разумеется, довольны. Для ребят он хорош и для нас не противен. Рассеивает дурман царизма.

— На работу спор. Не боится работы. Не боится он ее, работы.

— И по школе, и по нашей крестьянской общественности

— Был тут до него учитель, тот вялый. Того убрали, и поезжай, а этот, Алексей Михалч, нам хорош.

В руках у Громина бумажка. Копия. Я гляжу, как вдоль бритых щек сбегают к его подбородку, словно струйки синей воды, сладки кожи. Они слегка подрагивают.

— От вас, граждане, — говорит он по виду терпеливо, — поступила к нам просьба, чтобы товарища Радимова убрать. Тут ясно сказано, что вы недовольны им. Тут ваши подписи.

Я слышу голос Пахомова.

— Кто подписывал? Называй, товарищ, фамилии, а мы тех подписчиков к ногтю возьмем. Откровенная вылазка вредителей власти!

Бумажка в руках Громина трепещет.

— Вот они, подписи.

Голоса:

— Лишнее оно. Мы руку не прилагали!

— Подписей наших там нет. Самогонщики подписывали, да церковный совет.

— Твоего свата работа, товарищ. Надень очки.

— Товарищи! — голос Громина крепнет. Уже не дрожит листок в его руках, которые мне кажутся молотками, которыми он, как орехи, раскалывает голоса крестьян. — Час назад я, с товарищем из упрóса, был в школе. Мы обследовали школу. Как инспектор, я заявляю, что работа Радимова неудовлетворительна. Опорная школа ему не по силам. Я уважаю, товарищи, учителя Радимова, но он устал, ему уж немало лет, ему нужна школа поменьше.

Еще весной, когда намечалась моя переброска в Овечий Дол, я пил у Громина чай на его городской квартире. Его движения подивили меня скрытой жадностью: стакан он обнимал ладонями, покрывая его словно стрижа шапкой; он раскрывал газету таким гостеприимным жестом, словно каждая строчка в ней была написана им самим. Мне показалось тогда, что он живет с широким аппетитом. Это понравилось: какой вкусный человек! Тогда он признался мне, что в Овечьем Доле у него родня, и что он спокоен теперь за Овечий Дол. «В вашем лице, уважаемый»... «Наши партийцы считают вас за своего»... Теперь он так сумел обернуть дело, что партийцы е г о стали считать своим. Мужики слушали его как бы издали, сразбега. Я стар, хорошо-с. Меня нужно гнать, очень хорошо-с. В эту минуту широкий

и слепой голос крикнул откуда-то от подоконника, из кучки стариков:

— Гони его в шею от нас, правильно! Не нужен он нам!

Павел сидел дома, а его голос вынырнул здесь. Я поднялся с лавки. Неуловимым жестом Громин подбросила на ладони часы. Это был жест легкого замешательства. Я сейчас смог бы сбить его с ног. Но я сказал по-молодому звонко:

— Гнать меня, товарищи, нечего, я не слепень. Спасибо на искренном слове. Школа, это большое дело у нас. В школе у ребят, как у щенков, прорезаются глаза. А ежели я, по заверению товарища Громина, сам ослеп по дряхлости лет, то мне в школе не место. Заявляю вам, товарищ Громин: против переброски я не протестую.

Голоса обрушились на меня, как песок; чтобы защититься от них, я поднял плечи. Главное было сказано, я летел под кручу, ветер свистал в моих ушах. Я повернулся и взялся рукой за дверную ручку. Голоса громыхали, как камни, и среди них, в грохоте этого обвала, песком прошелестел голос тихого представителя упроса. Захлопывая за собой дверь, я уловил их смысл:

— С товарищем инструктором я не во всем согласен. В школе мы побывали мельком, ребят не застали. Как можно делать выводы? Товарищ Радимов, вы поступаете дезорганизованно, если покидаете собрание...

На улице в серой поволоке ненастья, шастал ветер, блюдца луж онедужились рябью. Их блестящую кожу кололи иглы дождя. Я пошел к школе, приглаживая рукой мокрые волосы. Я давно не переживал такого отчаяния: я сам себе подписал приговор. Я ни о чем не хотел думать. Вот нахохлившаяся деревенская улица, цедит дождь, и по улице идет старый учитель, обиженный людьми. Я шел, как обезумевший, вскидывая локтями. У крыльца школы стояла телега.

В телеге сидела Маруся.

Она была завернута в мой зеленый пыльник и в шерстяной платок, который делал ее похожей на окутанную пальму, которую везут в ботанический сад. Ее ноги были закиданы свежей, блестяще желтой соломой, из-под которой торчали носки калош. У передка телеги прикрытый мешковиной мок на дожде сундук с красными боками. Возница, низенький мужик в треухе, терпеливо стучал кнутовищем о наличник окошка. Я схватился руками за грядку телеги, Маруся обернула ко мне красное, мокрое от дождя лицо. Брови ее шелохнулись под платком и взлетели, как пчелы.

— Это что ж, — сказала она раздраженно простывшим голосом, — изба на запоре, а ты без шапки по селу гоняешь, а я мокни как чужая, скажите пожалуйста, какая прелесть, зеленокудрый май!

Она засовывала в рукава пыльника свои большие зазябшие руки.

Я спросил:

— Зачем ты приехала, не упредя?

— Зачем приехала, великие новости! Кому бы радость на свиданье, — а он: зачем! Ты бы спросил, как мне там у тетки неделикатно жить. Ты бы о детях спросил, может, Миша животом нехорош, а не с ругательствами на жену. Поглядите, какая он прелесть!

— Маруся, — повторял я почти в страхе, — Маруся, послушай-ка...

— Энто школа? — спросил возница, тыча кнутовищем в стенку.

— Школа.

— Шы-кола, больно, видать, богатеющие тут мужики. Подсоби, хозяин, сундучек снять.

Видно он был словоохотлив, — я оборвал его. Внезапно я принял решение.

— Езжай обратно, дядя, — проговорил я, — не станем снимать сундука. До города доберетесь засветло. Вот ты, Маруся, приехала, не спросясь! Спасибо, детей не привезла. Меня перебрасывают отсюда.

Я рассказал ей строгим голосом о Громине, о доносе кулаков. Она слушала меня с поджатыми губами, словно радуясь, словно в моей беде отводя душу. И вдруг я понял, что сейчас придет Лизавета Ипатовна, увидит ее погнутые раздражением губы, меня, стоящего перед телегой без шапки, и этот красный сундучок, накрытый взмокшей мешковиной. Я ужаснулся себе, что думаю так. Мои губы прыгали. Я испугался тому, что ненавижу Марусю. И я ей солгал.

— Спать здесь негде, — сказал я, — поезжай в город, остановись у дяди. Я приеду завтра.

Мужичек сел на грядку, телега тронулась. Маруся закачалась, всплескивая руками. Ее тихая покорность меня удивила. На ее плечи сыпал мелкий пылящий дождь. Я отпер дверь школы, вошел, сел на лавку у стола. Я представил себе ясно, как в поле по извилистой дороге ползет телега, стон колес исполнен жалобы, и за телефонные столбы, за кусты мокрой хваткой цепляются сумерки. Это, учитель Радимов, гражданин хороший как же так?

Сдался?

VI

Мое письмо к Марусе, отправленное назавтра, с нарочным. С Костькой Пахомовым, учеником третьего отделения.

«Дорогая Маруся, это письмо тебя застанет еще в городе. Я сам завтра буду в городе, по своему делу у товарища Вайсбейна, и тогда мы увидимся с тобой. Нам уже не нужно будет ничего решать, потому что главное решает это письмо. Я знаю тебя давно и поэтому уверен в тебе, в том, что со мной во всем согласишься.

Когда ты приехала вчера, я был в самом позорном состоянии духа. Зажиточная часть крестьян, озлобленная за то, что я хочу взять пустующую церковь под школу, написала на меня пасквиль, донос, которым в городе воспользовался недобросовестный товарищ.

Я отдавал школе все свои силы. Ты не первый день знаешь меня. Я был «блаженным идиотом», как ты любишь меня бранить. И когда Вайсбейн, товарищ, которого я уважаю, поверил доносу, мне показалось, что подо мной шатается земля.

Я кинулся назад, в деревню. Там шло собрание, созванное инспектором, чтобы меня потопить. Я не думал о себе. Я думал о своей работе. Я думал о ребятах, которые шли за мной, о той радости труда, которую мы вместе с ними находили. На этом собрании нашелся человек, враг, который поддержал инспектора. Не мой личный враг: враг советской школы, советского строительства. И я упал духом. Я оскорбился за себя. Я оскорбился за то, что мою работу готовы были выкинуть из избы, как грязную тряпку. На меня нашло ослепленье, о котором я теперь вспоминаю со стыдом. Личную обиду я перенес на общее дело. И я ушел из школы, как дезертир. Я самолюбиво покинул армию, штурмующую новую жизнь. Я шел по селу, неся свое сердце, полное слепого гнева. Ты увидела меня и посмеялась надо мной.

Если бы ты не посмеялась надо мной, может быть, я не написал бы этого письма. Но лучше, что ты надо мной посмеялась, потому что письмо было бы написано неделей или месяцем позже.

Едва ты уехала, в школу пришел представитель упроса, наша учительница и кое-кто из передовых крестьян — моих товарищей. Представитель упроса

стал убеждать меня в том, что произошло недоразумение. Я слушал его со стыдом за себя. Пахомов, здешний крестьянин, добил меня. Он не стал меня просить Он поглядел на меня так, как великан глядит на карлика, и сказал только:

— Редко я ошибаюсь в людях, Михалч, а в тебе вот ошибся. Выходит на поверку, что ты из ненашего теста. Вялый.

Ну, и все. Ты еще не понимаешь меня. И я не умею сказать тебе основное достойными и простыми словами. Остаток моей жизни, Маруся, я хочу целиком бросить в костер культурной революции. Ты не смейся,—пусть это звучит по-газетному, но это согрето все тем лучшим, что есть во мне. Я хочу окружить себя людьми, которые не станут отнимать у меня последних сил на борьбу с ними самими, с личным бытом, с проклятием раздорной, друг другу мешающей семьи. Зачем итти по дороге, в которой вязнут ноги, когда подле есть дорога, мощеная щебнем? Вспомни нашу жизнь последних лет. Посмотри на эту жизнь честно. Если ты сделаешь это, то наши выводы совпадут.

Нам пора разойтись, если мы уважаем себя и друг друга. Отнесись к этому без обиды: за обидой не видишь правды и живешь как слепой. Завтра я привезу тебе мои маленькие сбережения последних месяцев и в будущем, конечно, буду помогать тебе. Теперь главное — дети. Дети должны быть советскими. Из них должны вырости революционеры, новые люди.

строющие социализм. В этом я не уступлю тебе. Я не позволю, чтобы на заре своей жизни они хватались за юбку, к которой пристала пыль разбитой и злобствующей жизни. О детях мы договоримся завтра. Меньших ты покуда оставишь у себя. Мы договоримся с тобой без злобы и обиды.

Ты меня прости, что написал так неладно. Сегодня нужно отдохнуть, потому что завтра с зарей ехать в город.

Твой Алексей».

Лизавета Ипатовна приписала внизу, горячая душа:

«О детях не беспокойтесь, Мария Семеновна, я очень люблю детей».

КОВАЛЕВ, КОРОЛЕВ И АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ.

I

Ночами лужи на дорогах затягивал ледок, а днем шел дождь, холодный и секущий: осень встала сурово.

На крыше старосты резной петух-флюгер повернулся под рывком ветра и уставился клювом на запад, — ветер потянул восточный, свистящий и злой. Облака поползли ниже к земле, надумал было накрапывать дождь, но перестал, пыль от капель его, упавших тяжело, стала рябая, оспенная.

Собирался вечер. В пруду, обсаженном ветлами, пропела, раздувая беловатый живот, иззябшая лягушка.

И вот лопнул снаряд: подходили белые.

Аркадий Петрович, ехавший в тарантасе, чтобы перекинуться к белым, вобрал голову в плечи, перекрестился мелким крестом и ладонью тронул мужика, сидящего на козлах, сказав напуганно:

— Погоняй, голубчик.

Оглянувшись, увидел он, как по правую сторону проселка, там, где рыжее жнивье клином вдавалось в лес, поскакали всадники, низко пригнувшись к седлам, — то ли красные, то ли белые. Холодное солнце, катящееся на покой, загородилось тучами, ото ржи тянуло запахом кротовых нор. Снова пропел снаряд, ахнул где-то за леском, проаухав по раздолью. Екая селезенкой, лошадь мирно бежала проселком, шлея хлестала ее по бокам, мужик на козлах позевывал.

«Только бы досхать до деревни, — подумал Аркадий Петрович, — а там как-нибудь выверчусь».

— Палят, — сказал он мужику.

— Канешна.

— Наши, что ль?

Улыбнулся, как привык улыбаться с тех пор, как бежал, чтобы перекинуться к белым, — искательно.

— Разбери их, которы наши, которы ваши. За эту за самую стрельбу придецца прибавить вам, барин.

— Гони, гони, — сказал Аркадий Петрович, — прибавлю.

За поворотом открылось село: оно лежало в котловине, загородясь полями, убегающими на скаты, схоронилось в голых яблонных и вишневых садах, поднявшихся вровень соломенным крышам; розовая колокольня, исстеганная дождями и ветрами, сторожила их, как одряхлевший сторож. Засыпающее солнце не могло дотянуть сюда отяжелевшего взгляда своего, — жнивье на верху скатов багрянилось еще, а

село было в тени, в вечереющей сини близкого вечера.

У околицы на земле сидели спешенные красноармейцы; привязанные к городьбе лошади лениво нюхали повядшую траву, шевеля ушами.

Мужик натянул вожжи, сказал:

— Тпру, милой!

Поглядел на красноармейцев и спросил безразлично:

— Пропущаете, ай нет?

От сидящих медленно приподнялся крепкоплечий парень, подтянул сапоги к рейтузам и поправил козырек на картузе; лицо у него было желтее меди, все в веснушках, будто всадили ему в кожу множество мелких булавок с желтыми головками; глаза маленькие и удалые. Подойдя к лошади, он подтянул подпругу, похлопал лошадь ладонью по крупу и, мельком глянув на Аркадия Петровича, спросил как будто мимоходом:

— Кого и куда везешь, товарищ?

Аркадий Петрович перегнулся из тарантаса; держась за ручку своего чемодана, клетчатого, с пообитыми боками, старался он глянуть товарищу в его бедовые, мелкие глаза.

— Я, товарищ, еду по командировке из Москвы. В Листовец еду, у меня мандат от товарища Кириллина, хотите взглянуть? У меня при себе мандат. Все в порядке, товарищ, и печати, и подписи, угодно ли взглянуть?

— Какой-же это такой Кириллин-то? — спросил товарищ, взял в горсть гриву лошади и сказал ласково: «да стой ты, чорт!»

— Товарищ Кириллин? Вы не знаете товарища Кириллина? Да он в комиссариате внутренних дел, в этой комнате, что, знаете, как итти от подъезда, то третья. Безусый, у левого глаза родимое пятно, похожее на черный пластырь. Плешив он. Лет под сорок. Да вот, взгляните на мандат.

Засунув руку, он стал искать в боковом кармане бумажника, думая: «авось пронесет и здесь, христа-ради».

— Ладно там. А почему попали на фронт?

— Да я же в Листовец еду.

— А ведомо вам, что Листовец в руках белых?

— В руках белых?

Товарищ отошел от лошади, облокотился о козлы и, сложив на них руки, из-под козырька стал глядеть Аркадию Петровичу в переносицу; глаза его сузились еще больше, загорелые на солнце морщинки поднялись к ним.

Аркадий Петрович вынул руку из бокового кармана, поправил чемодан, чтобы не лез на ноги, колени его коломытно свело.

— К завтраму ж отобьете, товарищ...

«Не пронесет, не пронесет», — впивался ему в мозг гвоздочек.

— Отобьем не отобьем, а ездить здесь вам, товарищ, не к чему, здесь у нас эва чем пахнет, слышите?

За скатами забрехал пулемет, прорыдал, затих, зарыдал гулче; красноармейцы, лежавшие на животах, засмеялись чему-то весело, но похабно.

— Может, мне переждать здесь, у вас? — спросил Аркадий Петрович, улыбаясь той улыбкой, какую презирал в себе, и вдруг как-то со стороны увидел себя в зеленом пыльнике, в запыленном и выцветшем шлюпике, с небритым, жалко сморщенным лицом, душа в нем стала скулить по-щенячьи.

— Переждать, товарищ, придется. А ну-ка, Петухов, сведи-ка товарища в сарай, тому-то нашему пленному повеселей будет, стосковался, поди. Слезайте, товарищ, приехали.

— У меня ж мандат, — оробев, проговорил Аркадий Петрович, а сам уже стал вылезать из тарантаса задом, думая, что пропал, говоря:

— Я еду по инструкции центральной власти, уполномочившей меня... и у меня чемодан, можете обыскать, ничего подозрительного.

— Чемодан мужик к себе свезет, чемодана вашего нам не нужно. Иди, Петухов, да мигом назад.

Петухов был низок ростом, глумлив лицом, картуз его был прострелен, портки висели над рыжими сапогами будто надутые, через грудь косо шел ремень винтовки. Он подошел вразвалку, качаясь всем телом, и поглядел на слезшего Аркадия Петровича, как на бездушное бревно. Потом он повернулся и пошел к околице.

Аркадий Петрович безропотно пошел за ним, глядя на его пропотелую, всю в пятнах от денного покрытого пылью пота гимнастерку, на винтовку с обрезанным дулом, чтобы легче весила, и думал, что как же так, что вот так история, что надо же выяснить...

Деревня была как вымершая, только от пруда, поворачивая надменно головы с черными мухами глаз, шли гуси, белые гагаки, неловко ставя на земь лапчатые красные ноги. Кой-где на дороге лежали кучки перегоревшего на денном солнце конского навоза, похожего на искрошенную солому. У колодца с высоко взметнувшимся недвижным журавлем стояли три солдата, курили и сплевывали в колодезь.

Петухов подошел к чистенькой избе, отворил калитку в плетне и сказал девченкиным голосом:

— Здеся.

Вслед за Петуховым Аркадий Петрович пошел садом; кривоствольные яблони, обмазанные известкой, только что сронили последние листья, под крыжовенными кустами уже укладывался на покой намаянный деревенский день. Идя за Петуховым, глядел Аркадий Петрович, как под сбитыми его каблуками хрустят загнившие сучья, будто сухари на зубах.

Вышли на гумно, к риге.

У риги на земле, запорошенной соломенной трухой, сидел, опираясь спиной о затворенную дверь, красноармеец, с медной, редкой бороденкой, молодой,

с плоским носом и глазами, похожими на полотняные пуговицы с подштаников; глядел он в небо, положив винтовку на колени, на ближние звезды, еще не зажегшиеся, но уже намеченные недальней ночью. На выставленных наружу подошвах его сапог налипли земля и куриный помет.

— Чаво, чаво? — закричал он, завидя подходящих, — кого ведешь еще, кого пымал? Давай его сюда, сукина сына, покажу ему, как против трудящего народу иттить!

Он встал, заломил фуражку на бекрень, заголив узкий лоб, волосы цвета гнедой кобылы полезли ему на глаза, рот у него был веселый и недобрый. Приплясывая, он побежал к Аркадию Петровичу навстречу, остановился, и затаращил безцветные глаза.

— Буржуй? Давай сюда буржуев, мать их богородице... Товарища Ленина враг, так и мой ты враг беспременно, враг трудящего народу.

Аркадий Петрович поглядел на его лицо, русское-разрусское, на яркие зубы под тонкими белыми губами, на рыжую бороденку и сказал одними губами, ничего не думая:

— Прошу вас быть сдержаннее, я арестован по недоразумению и скоро это выяснится...

— Покуда прояснится, пожалте в ригу, товарищ. Где пымали его, Петухов?

— Нигде не пымали, — сказал Петухов безо всякого участия, — сам набег. Припри его в риге, там уж какое распоряжение выйдет.

— Поди в ригу, што ль! — закричал Ковалев, хватая Аркадия Петровича за рукав.

Аркадий Петрович отстранился и поправил рукав. Петухов свел лопатки, чтобы подкинуть на спине винтовку, повернулся и пошел назад, гумном. Аркадий Петрович закричал ему вдогонку:

— Приглядите за моим чемоданом, товарищ, я вас поблагодарю!

Петухов шел, не обернулся; проходя мимо крыжовника поднял куст, спугнул нахохленную курицу и пошел дальше.

— Приглядим за чемоданом, имей такое спокойствие на милость, — сказал Ковалев, толкнул Аркадия Петровича кулаком под лопатки и закричал, сам тешась своим голосом, — иди куды зовут, покеда голова на плечах держится!

Отстраняясь от Ковалева, Аркадий Петрович подошел к риге. Ковалев вынул застреху из петли, отдал щеколду и приоткрыл дверь, заохавшую на проржавленных петлях.

Аркадий Петрович торопливо скользнул в щель, дверь за ним тотчас же закрылась, заохав, снова скребнула щеколда, забитая застрехою.

В риге было темно, Аркадий Петрович в первую минуту ничего не разобрал; свет сочился из-под стены; под самою крышей скоро увидел Аркадий Петрович толстые бревна, соединявшие стены, иструшенное прошлогоднее сено, пыльными копнами лежащее в углах, дровни с высоко взодранными

оглоблями, хомуты, постромки, сваленные в кучу колья. Потом он рассмотрел человека, сидящего на передке дровней.

Человек был черен, бородат, очень раскидист в плечах; сидел он, ссутулясь, положив длинные руки на колени, пухлые губы его были рассечены, неутертая кровь чернела на бороде. Аркадий Петрович двинулся к нему, переступил с ноги на ногу и сказал нерешительно:

— Здравствуйте, товарищ!

Человек ничего не ответил, только перевел на Аркадия Петровича большие светлые глаза, взгляд их был, что взгляд парнишки о восьми лет: лазоревый.

Аркадию Петровичу стало тошно и не по себе. Отойдя, он присел в сторонке на сруб, откинул полу пыльника и достал кожаный портсигар под крокодила. И явственно почудилось ему, что пропал, беззащитен; губы его поджались по-старчески.

— Кто таков будешь? — спросил бородатый человек.

Подняв лицо, увидел Аркадий Петрович лицо туповато доброе, покорное, расческою продранные волосы; судорожно сведя пальцы, он переломил папиросу, поглядел на нее, бросил на землю и ответил устало:

— Да вот арестован, совершенно неизвестно почему. Попал в полосу военных действий. Даже мандата не посмотрели, совершенно явный произвол.

Как вы думаете, ведь выпустят, если нет никакой вины?

Черный мужик усмехнулся, не сказал ничего.

Аркадий Петрович подумал: «свой или нет? Как будто свой, если засудили, а может быть, провокатор». Здесь со стихийной тоской подумалось ему, как он неосторожен, душевно неряшлив: ах, в голодной Москве, где надобно стоять в очередях, где пахнет поганым и дрянным серо-сизым супом из воблы, там все же был покой и уют в комнате, загроможденной мебелью, как чулан... И опять он увидел, что пропал, и опять ему стало тошно, как в море, когда тянет к борту.

— Я, товарищ, тоже встрял, — сказал мужик с усмешкой, смеясь над тем, что вот, мол, встрял, — кому, видать, какое расписание. Встрял да побит.

— Кто же это вас?

— Да тот, сторожевой. Рыжий-то тот.

— За что?

— А за то, что он сторожевой, а я забранный. Ты, грит, кадетский шпион, за выглядкой к нам залазил. В расход, грит, тебя, стерву, взять, и в морду — раз. Будешь, грит, помнить, как итти противу трудящего народу, и в морду — два. Губы рассек.

— Жаловаться надо.

— Кому жаловаться, когда боевое дело? Шел я, сынок, с села Ганькина на село Кузьминское, а в Кузьминском-то, эвона, баба в больнице родит, труден у ей на сей раз случай. Прошел горку, спу-

щаюсь в балку, все тебе ничего, а как завернул за межу, глянь, скачут ребята на конях: ты, кричат, кто таков? А вот таков, говорю, что в селе Ганькино крестьянствую, крестьянин Иван Петров Королев. Крестьянствуешь, кричат, а про какой случай со стороны золотопогонников прешь?

— Эй, не разговаривать там! — раздался голос Ковалева за дверью; прикладом винтовки он застучал в дверь.

— Куражится, — сказал Королев шопотом, мотнул головой и зашевелил пальцами на коленях, покрытых залатанными портками: вот, дескать, как оно...

Помолчали. Становилось темнее да темнее; видно, близко было болото, потянуло через щели мокрым торфом, слизью болотною; шелохнулась в сенной трухе мышь, пискнула, от земляного пола запахло червями.

Аркадий Петрович встал, ноги у него были тяжелые, а тело слабое, в висках постреливало как от угара. Он сделал вид, что равнодушен к своей судьбе, ибо уверен в том, что все хорошо сладится, прошелся от стены к стене, поковырял пальцем ссохлый столб, подпиравший крышу, и, подойдя к розвальням, вдруг нагнулся к Королеву.

Спросил тихо:

— Как думаешь, почтеннейший, а стенкой тут не пахнет?

— Как?

— Стенкой, спрашиваю, не пахнет? Расстрелять не могут?

— Какое выйдет кому расписание, — сказал Королев, — все может быть.

Выслушав это, Аркадий Петрович еще раз прошелся от стены к стене, остановился, поглядел на крышу: в крыше кой-где провалилась солома, видно было небо, сонное и тихое.

Сказал:

— А у меня, брат, сын есть. Пяти лет.

— Тэк-с, — сказал Королев.

— Владимир, — сказал Аркадий Петрович.

За стеною звенящим тенором напевал Ковалев песню про Стеньки Разина челны; выходило это у него разливно, распевно, водное в голосе его чуялось раздолье.

Походив, Аркадий Петрович спросил:

— А как, брат, думаешь, если золотой дать? У меня царский золотой есть.

— Золотой дело сходное.

Загремела задвижка, застреха заелозила в петле, голос Ковалева закричал буйно:

— А, сволочи, помолчать не можете, коли приказываю! Так я вас...

В щели двери, мутное в густо-завечерневшем свете неба, показалось тонкое тело его; он спокойно приставил винтовку к стене, медленно засучил рукава и пошел на Королева, не отрывая глаз; когда подошел, Королев отступил шаг назад, опустив руки, тоже не

отрывая глаз от глаз Ковалева. Ковалев наступил, Королев отступил.

Здесь, подняв руку, Ковалев замахнулся — от удара ляскнули зубы Королева, как у волка голодного.

— За что бьешь? — спросил он, утираясь рукавом.

— А за то!

Размахнулся, — и снова лякнули зубы, как у волка голодного.

Королев утерся рукавом, на рукаве проступили капли крови, черные. Опустив руки, глядел на Ковалева и ждал. Ковалев повел плечами, шеей, повернулся и пошел за винтовкой. Запирал за собой дверь, бранясь вполголоса, срамно, приплетая божественное.

Аркадий Петрович сел на труху, в душе его зыбилась вода какая-то, дрожливая.

Королев сказал:

— Зверь человек. Само первое — не за што.

И лег ничком в дровни, слышно было, как сморкался кровью, подминал под себя солому. Сквозь прорехи в крыше видны были теперь звезды, дрожащие голубым светом, то и дело их прикрывали тучи. Скрипел ветер. Ковалев за дверью притомился, умолк.

Потянулось время, влача на подоле своем часы света и темноты.

II

— Стреляют! — проговорил Аркадий Петрович, приподняв голову и насторожившись.

В потемках не видать было Королева, только слышен его голос.

— Чего ж не стрелять?

Просторный воздух ночи волной, напоенной свежестью, донес с ближних скатов гул, который разростался, как невидимый пожар, то пуще, то глуше; будто били по чугунной свае на стройке, тяжко занося молот за плечи, потом крик сотни глоток раздался.

И уже здесь, под самым селом, раздирая, разрывая воздух, четко гаркнул пулемет, залился припадочным кашлем.

Аркадий Петрович, плотно запахнув пыльник, поднялся с койки, ноги едва держали его, словно под колени ему били доской, шибко застучало сердце — гулче, нежели пулемет. «Аа-ва-ва», — сказал он, потом справился и крикнул, брызжа слюной:

— Слышишь? Слышишь?

Королев сел в розвальнях, поглядел на дверь.

Закричали «ура». Здесь же, совсем близко, были слышны удары конских копыт по земле, несколько раз крикнули винтовки, пулемет помер — видно задохнулся в кашле. Минут пять клокотали крики, треск, лошадиное ржанье, — потом смыло шум, ушел он куда-то далече за скаты, где под ветром ежатся поля.

Звезды глядели в прореху крыши.

— Кто такие, стрелять буду, — сказал за стеной Ковалев громко, но не охально.

Два голоса ответили ему:

— А ты кто таков?

— Со звездой он.

— А, леший! Ткни-ка его, Саша.

— Зачем ткни? За шиворот возьмем.

— Не стреляю! не стреляю! — крикнул Ковалев, раздался шум борьбы, не равной и не упорной.

Аркадий Петрович бросился к двери, застучал в нее кулаками, занозив себе ребро ладони.

— Отоприте, я арестован большевиками! Господи, господи, да что же это такое!

И, пока гремела щеколда, напирал на дверь руками и грудью, мешая отпереть; на гумне, после теми сарая видать было хорошо, увидел Аркадий Петрович мальчика в погонах на плечах, с лицом возбужденным и тонким, щуря глаза, вглядывающегося в него, троих солдат, закручивающих бьющемуся Ковалеву руки за спину; захотелось ему плакать, он двумя руками схватил руку мальчика, запыхавшись, заговорил от радости бестолково:

— Благодарю вас, поручик, за освобождение, я из Москвы, я хотел перекинуться к вам. Как мы ждем вас там, в Москве, как мы верим в вас, в то, что вы спасете... родину... страждущую...

Офицер бережно высвободил руку, поглядев на Аркадия Петровича насмешливо.

— С кем имею честь?

— Я из Москвы. Может быт, слышали, на малой Лубянке в доме номер...

— Нет, не слышал. Сейчас вас проведу в штаб.

— Да, да, благодарю вас...

— А это еще что за чучело?

Выйдя из риги, Королев поклонился офицеру в пояс, отчего волосы его кинулись вниз, на закровавленное лицо, а когда выпрямился, откинулись они у него назад, открыв рассеченные губы и нос, темный от крови. Только глаза его глядели светло — ну как у парнишки махонького.

— Ты откуда?

— Крестьянин села Ганькина, Иван Петров Королев. На предмет того, как баба рожает в кузьминской больнице, у дохтура Карла Ивановича, шел, ваше благородие, по беспокойству моему...

— А кто это тебя разрисовал так?

— Пострадал, ваше благородие, беспричинно.

— Ладно, в штаб. Все тут? Гаврильчук!

Гаврильчук, крутогрудый, могучий солдат с георгием на груди, повел Королева и Аркадия Петровича в штаб.

Село ожило: слышен был хохот солдат, ходивших по избам; несколько человек, окружив молодую бабу, спрашивали, есть ли на селе девки, которым любы офицеры. Баба приседала, пищала тонким голосом: «ай, не трожьте, не замайте, соколики»; добровольцы щипали ее за грудь.

Штаб помещался в избе, стоявшей одиноко, посреди двух пролетов; к ветле были привязаны лошади, два солдата сидели на завалинке, играючи со щенком, лохматым и лопоухим. Он тыкался им сонной мордой в сапоги, вертел хвостом.

— Пленные, што ль?

— Коммунисты.

— Позвольте, — в возмущении проговорил Аркадий Петрович, — какое право вы имеете обвинять нас в коммунизме? Я доложу об этом господам офицерам. Коммунистов красные не стали бы запирать в сарай и угрожать расстрелом.

— Мы что, мы ничего, — разом в один голос сказали солдаты и посторонились, давая пройти.

В сенях, под скамьей, стояли горшки, прикрытые дощечками; слепая на один глаз кошка, вся в репейнике, обнюхивала их, пропустив хвост меж задних ног.

Войдя в избу, увидел Аркадий Петрович свечу на столе, бутылку водки и стакан, бумаги, закапанные стеарином; за столом в расстегнутом кителе сидел толстый генерал, лицо у него было оплывшее, усы нечесаные; облокотясь на стол глядел он на пламя свечи и сковыривал с нее бугорочки стеарина. Под образами на скамейке сидел адъютант с рукой на белой перевязи; молодые живые глаза его были красны — быть может от усталости, а может быть от выпитой водки. На полу, на корточках, сидел третий офицер, немолодой и плешивый, и набивал папиросы,

гильзы у него ломались, он бросал их с сердцем под лавку и говорил: «а, мать твою!»

— Кого привел, Гаврильчук? — спросил генерал, не шевелясь, только подняв желтые морщинистые веки.

— Так что поручик Смирнов прислали в штаб. Обнаружены в риге в запертом состоянии, един хрестьянин и един почище.

Набивавший папиросы офицер не обернулся, адъютант же посмотрел остро и любопытно.

Генерал передохнул, залез рукою за рубаху и, почесывая низ живота, спросил:

— Фамилия?

— Моя фамилия Рыбаков, — бодро отвечал Аркадий Петрович, глядя на полковника веселыми глазами, — я выехал из Москвы с намерением передаться генералу Деникину. Представить себе не можете, что пришлось испытать и через какие опасности перейти, но, слава богу, все уже кончилось. Большевики засадили меня в сарай, кажется, мне грозил расстрел, — вы знаете, как у них на этот счет просто.

— А ты?

Королев поклонился в пояс, движением головы отбросил волосы назад и сказал:

— Я?

— Ты.

— Мы будем с села Ганькина. Шел, ваше благородие, по обеду на Кузьминское, баба моя рожает в

больнице, труден у нее этот случай, боязно, кабы бог не прибрал. Субтильная у меня, ваше благородие, баба.

— Ладно, брат. Имя твое?

— Имя мое Иван Петров Королев, крестьянин села Ганькина. Беспричинно, ваше благородие, избит до полусмерти, и рубаха моя потеряла всякий цвет лица.

Адъютант беспокойно двинулся на скамейке, сказав:

— Не мешает, думаю, посмотреть документы. Помните вчерашний случай, ваше превосходительство.

— Документы, это да. А ну-ка, попрошу документы.

Аркадий Петрович, засуетившись, полез в карман, говоря торопливо:

— Вот, сейчас, мой документ... Конечно, документ подложный, купленный мною для того, чтобы иметь возможность добраться до линии фронта, но фамилия настоящая: Рыбаков. Я вез и царский свой документ, но выбросил его, простите, в отхожее место в Витебске, когда в гостинице делали обыск.

— Знаем мы эти песни, слышали, — встав, недобро проговорил адъютант.

Аркадий Петрович увидел его напряженное, усталое лицо, и улыбнулся против воли, как привык униженно.

Адъютант взял мандат, посмотрел, придвинул свечу, потом бросил на стол.

— Вот извольте посмотреть, ваше превосходительство: советская печать, подпись партийного коммуниста, большевистская орфография, все в порядке. Я бы таких молодчиков без всякого допроса на первом суку вешал. Какой дурак добровольно полезет на выстрелы? Инсценировка замечательная: сарай, арест, а потом в тылу таких наделают художеств, что заборы в нас станут стрелять.

— Да-а, — промычал генерал, налил себе водки и выпил, мотнув головой.

Офицер сложил набитые папиросы в кучку, закурил одну и спросил сонно:

— Ночь здесь простоим?

— Как в штабе.

— Разрешите сказать, — заговорил Аркадий Петрович, омерзительно холодея, — здесь явное недоразумение. Смешно во мне предполагать большевика потому, что у меня фиктивный советский документ.

— Вам, может быть, смешно, а нам не смешно подставлять вам наши спины. Не прикидывайтесь, научены.

— Даю вам слово, вы меня не поняли.

— Молчать! Ни слова! Молчать... твою мать!

— Брось, брось, Саша, — сказал полковник, утирая лоб рукавом кителя, — может он и впрямь, этот... Ты уж сейчас же, как порох: пыф, пыф! Скажи, чтобы заперли покуда, где он там сидел? Простоим здесь, видно, до утра — поспеем.

— Я бы их, сукиных детей, прямо на сук.

— Сук и к утру не обломится, ну его к собакам под хвост, вторую ночь, ей-богу, не спал. А ты наделал грому! Гляди, — проснулась Полет. Ну, как же это можно, уж разбудили, уж проснулась Полет.

Встревожившись, он поднялся из-за стола, застегивая тужурку. На столе качнулась бутылка, пробка соскочила с горлышка, запрыгала по земляному полу.

Вглядевшись, Аркадий Петрович увидел на скамье прикрытую беличьей шубкой женщину. Ее лицо, которое она высвободила из-под капора, было молодо, почти юно, истомленно и капризно. Нос с горбинкой делал ее похожей на совенка. Она подтянула ноги в барашковых ботах и сердито поглядела на Аркадия Петровича.

— Проснулась, Полет? — спросил генерал тревожно, стоя перед нею на вытяжку, как перед главнокомандующим. — Это такой уж крикун Саша. Не болит голова? Я говорил тебе, что на фронте тяжело, грязно и холодно. Какое сумасбродство!

— Кто этот человек? — спросила Полет матовым голосом, кивнув в сторону Аркадия Петровича острым подбородком.

Адъютант сказал:

— Большевитский шпион, мадам. Жаба из московского болота.

Аркадий Петрович, холодея, смотрел в совиные глаза Полет. Она концом губ улыбнулась ему.

— Шпион? Вот не ожидала, что они так интеллигентны!

— Ну, уж и шпион, — примирительно забасил генерал. — Саша вечно выдумает. Послушать Сашу, так шпионы растут под каждой березой. Спи, Полет, завтра опять наступаем: если так пойдем, через месяц ударим в Ивана Великого. Слышь-ка, Гаврильчук, отведи его откуда привел, да приставь часового. Саша, налей.

Адъютант взял бутылку, поглядел на свет и опрокинул в стакан, вино оставалось только на донышке. Генерал выпил, крякнул, расстегнул рубашку и штаны, поглядел оплывшими глазами на пойманных, сделал губами фу-фу-фу-х.

— А мужика, Гаврильчук, отпусти на все четыре стороны, жена там у него, говорит, родит. Кого родит-то?

— Как?

— Белого, спрашиваю, родит, аль красного?

— Как?

— Как, как! Глядит на меня, что гусь на молнию. Коммуниста, спрашиваю, ждешь, аль русского?

— Што прикажете, ваше благородие, то и сделаем, — сказал Королев, кланяясь в пояс. — Можно мне иттить?

— Иди, брат, да морду утри, бабу напугаешь.

— Може дозволите заночевать в селе? Время, ваше благородие, неспокойное.

— Ладно, ночуй. Ну, веди их, Гаврильчук.

Аркадий Петрович не пытался протестовать, он был скован страхом, растерянностью, был он подавлен

и будто уже не жив, машинально поклонился и послушно пошел за солдатом.

Ночь была душная, томящая, воздух плотен, ветер стих.

Солдаты подремывали на заваленке.

Королев протянул Аркадию Петровичу большую свою руку.

— Прощевай, покеда, помоги тебе бог, чтобы благополучно. А я тут вот с земляками перемогусь.

Аркадий Петрович пожал Королеву руку и побрел за Гаврильчуком, побитый и растерянный. На селе еще слышен был хохот, а избы стояли настороженные, не веселые, окошки светились лишь кое-где. И опять прошли калиткой в кособоком плетне, опять пошли садом, тихим и сонным гумном. В яблонях шуршала трава, возился кто-то.

— Да легче ты, чорт, — сказал дурной голос, — вишь лежит, как мертвая.

— Ладно, на тебя хватит, — сказал другой прерывисто.

Гаврильчук повел головой.

— Ребята наши балуются. Что ни село, то девок двадцать — в расход.

На гумне было светлее, небо освободилось от туч, камешками стояли звезды, и ревел, как море, крепчающий ветер.

Аркадий Петрович вошел в ригу покорно, как домой.

Запирая за ним щеколду, Гаврильчук сказал простым голосом:

— Ты посиди тут, господин, покеда сторожевого к избе не пришлю. Все ребята, гляди, поразбежались.

В риге стояло тонкое чиликанье: точили стены сверчки.

III

Аркадий Петрович привалился на землю, былое отупение прошло, теперь качал его страх безудержный и не поддающийся воле, страх трясущий все тело мышиной дрожью, рвущий мысли в голове, страх, близкий к тому, чтобы кататься по земле и рвать на себе волосы.

Он пробовал закурить, но папиросы валились из его пальцев.

Тогда, согнувшись так, что голова его оказалась между коленей, зажав руками затылок, стал он стонать монотонно, долгим и слабым криком:

— А-а-а...

Не было ни риги, ни стен, ни прорех в крыше с клочками ночного неба, был только этот крик, стенающий и негромкий:

— А-а-а...

Будто тяжелая штора, не пропускающая света, задернула от него все, что было живо и одушевленно; не то, что ему обнаженной, голой причудилась угроза, но не было ни угрозы, ни смертного страха, а вот этот только исходящий сердцем крик, полный тоски последней и животной:

— А-а-а...

Он поднял голову, — была в его теле слабость, и деревянными стали ноги, голова и руки. Привыкшими к темноте глазами Аркадий Петрович осмотрелся.

На дровнях, где давеча сидел Королев, сморкался кровью и подминал под себя солому, ворочался человек.

— Ты это кто? — спросил Аркадий Петрович в испуге.

Человек шелохнулся, а глаз его в темноте не было видно. Сказал по-злобному, шипящим голосом:

— Кто ни кто, а живой человек.

— Вас тоже... арестовали?

— Должно, что так. Мало-мало заарестовали, но и в морду раза два, черти, барьи лакеи! Вот тебе и на, бабушка Марья, не жисть, а малина-ягода. Ваше обличье, барин, что-то мне больно приметно, не вас ли я тут ввечеру стерег?

Вглядевшись, Аркадий Петрович признал в человеке, сидящем на дровнях, красноармейца Ковалева, того, кто поставил винтовку в угол, бил в морду мужика Королева из Ганькина села. На нем теперь не было фуражки, ворот рубашки его, шитой красно-синими стежками, был изодран, шинель сползла с его куриных плеч, волосы налипли на узкий низкий лоб. Был он зол и прибит, чесал подбородок, пропуская меж пальцев рыжую бороденку, часто сплевывал, ложился в дровнях и тотчас же порывисто приподнимался.

— Я солдат Красной армии Российской советской республики, а вы-то, баринок, как сызнова встряли? Ай и вы с федеротивной стороны? Дела, господи, в прежнее время каждого человека видать: тот барином идет, цепочку по борту распускает, индюком зоб топорщит, тот рабочий, с соткой в кармане, а нонче все тормаком наперед, разбери, который человек трудящий, который паразит. Э-эх!

— А ты чего, — сказал Аркадий Петрович с острой, жалящей злобой, — ты чего, мерзавец, зубы теперь скалишь? Довольно мы от вас всякого хамства перенесли, на суку вас, сволочей, всех перевешать надо И перевешают, перевешают, будь спокоен, голубчик! Я у тебя еще и скамейку из-под ног выдерну, качайся себе на ветру, галкам на съедение. Эх, ты, темнота народная! Жидам пошел служить, хомут себе на шею пейсатый надел. Вам палка нужна, всех отдубасить до смерти надо — ты думаешь, что? Ведь это ты меня по миру пустил, из квартиры на мороз выгнал, а я горбом своим к старости копейку берег. Я горбом, а ты: власть пролетариата, чтоб тебя вместе со всем пролетариатом твоим к чорту на рога! Уви-дишь...

Злобиться, гневаться было легче, нежели молчать, Аркадий Петрович встал с копенки, расстегнул верхние пуговицы пыльника, оттянул воротничек, злоба в нем шипела веселая, торжествующая:

— Эх, ты! Эк-ка, т-ты! Покажем мы вам, увидишь земной рай!

И прошелся от стены к стене, ступая твердо, нагнулся, поднял кол, и бросил его в угол.

— Т-ты!

Ковалев спустил ноги с дровней, он было теперь без сапог, в одних запревших портянках. Спустил ноги, потопал ими по земле, сказал с недужной жалобой в голосе:

— Чего бунтуешь, чему радуисси? Смерти человеческой, барин, радуисси?

И ничего не сказал больше, и Аркадий Петрович тоже ничего не сказал, промолчал. Гаркнул петух в почуявшей утро темп, вышло у него это хрипло, но задорно; стало свежеть, острее запахло землею, травой и болотом, — видно, поднялся над ним туман, заклубился, потянулся к солнцу, которое не встало еще, а только собиралось встать.

Аркадий Петрович остановился у стены, глядел на нее, бревенчатую, на прощелины, сучки, из прощелин тянуло молочным светом, бледно-серым, как лица городских проституток, дремлющих на уголках.

И вдруг сказал не сердито, по-человечески:

— Может, Ковалев, и образуется все.

— Стенкой образуется, — ответил Ковалев, — пулею-жаной.

И еще раз взъярился петух, без хрипа теперь, почти не сонный.

Аркадий Петрович, поеживаясь от сырости, спросил, глядя в светающие прощелины:

— А чего же не попробуешь уйти? Ведь никто не сторожит.

— А вы чего?

— Я — кость белая, мне не к чему.

— То-то белая, что под замок попал.

— Я по недоразумению.

— Какое теперь разумение, одно разумение: либо в морду, либо в небесную чеку, в штаб Духонина. А уйти не уйдешь, — на щеколде дверь-то. Я стены здесь облазил, не выскочишь. Подкоп, може, стоило бы прорыть, да чем рыть будешь? Уж как оно есть, так и сбудется.

— Ну, что ж, покоримся, брат. В бога-то веришь по-церковному, либо по Демьяну Бедному?

— В бога не верю, — сказал Ковалев просто, — верую в Ленина Владимира Ильича.

За стенами, надо думать, все явственнее светлело небо, музыкальный шопот прошелся по листьям яблонь, а в жнивьях, там, где на заре проселки белели, будто мел, стали сладко расправлять разомлевшие свои тела полевые русалки, те, что любят с вечера затащить в канаву молодых парнишек, да замучить, заласкать, защекотать их до смерти.

По гумну, к риге, шел человек, шагая по-медвежьи, шаги его были слышны издалека.

Аркадий Петрович насторожился, застегнул ворот лимонно-рыжего своего пыльника; шаги приближались, стали у двери, слышно было, как уверенная рука выдернула из петли колышек и бросила на

землю; дверь подалась, неторопливо вошел человек с черной бородой, взял бороду в горсть и, вглядываясь пристально, сказал хриплым со сна голосом:

— Здрасте, приятель, тута еще?

В сером пепле предрассвета узнал Аркадий Петрович в вошедшем Королева; Королев расчесан, на лице не было видно следов крови, только рассеченная губа чернела закоробившеюся полоской.

— Ба, да и ты тут, друг, — проговорил Королев добродушно, разглядев Ковалева; борода его черная раздалась под улыбкою, раздвинувшею губы; он поглядел на крышу; из гнезда, под стропилами, вышугнул воробей, чуркнул крылом и над головой Королева вырвался на волю, не уследить было за ним. Королев проводил глазами воробья, потом пристально, мрачно поглядел на Ковалева, поджавшего ноги, хилого и малого.

— Ну, и саданул же ты меня, друг, — сказал он тяжело. — Самое первое: не за што.

Разгладил бороду, «тэ-эк-с, тс-эк-с , сказал:

— Никто вас, други, не стережет, шли бы на волю, кому куды.

Потянул штаны.

— Покеда село спит.

— Ну, а посты? — спросил Аркадий Петрович, подавляя волнение, — всюду же посты, мы не знаем, где проходит фронт. Это опасно, рискованно, как же можно так?

— Небось здешний я, здешних мест крестьянин, провожу. Не мешкайте, покуда солнце не встало.

Наружи дышалось терпко, свежо, как дышится перед рассветом, когда закоченевшая земля ждет солнца. За ночь ветер стих. На востоке, как оплывший воск, висела гряда белых, сливочного цвета, облаков. В бороздах дороги хрустел белый игольчатый ледок.

Шли молча: впереди широкоплечий, чугуном налитой Королев, за ним, плечо-о-плечо, Ковалев и низенький, немного рыхлый растрепанный Аркадий Петрович. В кармане Аркадия Петровича позвякивали деньги и американский ключ от московской квартиры.

Прошли мертвыми задами, перелезли через плетень, вышли в луга, одетые сизым туманом.

— Дойдем до леса, — молвил Королев, — будет за тем лесом тропка. Пойдешь прямо, до шасы дойдешь, а на шасе красные стоят, тамо и есть Кузьминское. Тамо, в больнице, моя баба лежит. А еще есть тропка — на Листовец идет, кадеты в Листовце стоят. Вот как славно, други: кому какая тропка по сердцу, тую и выбирайте.

Поглядел на небо, сказал осклабясь:

— А баба, чую, нонче в ночь родила.

Пошел дальше, проминая траву; гряда облаков на востоке вдруг зажглась желтым тающим светом — вставало холодное тяжелое солнце. Ковалев усмехнулся, сорвал рыжую травинку, закусил зубами.

Королев спросил:

— Ты чему, друг?

— А тому. Тебя слухаю. Вона распелся: други-дружки, милые товарищи. Товарищ он тебе, дураку, барин-то наш! Походили мы среди бар, научены. Был бы у меня мой винт при мне, показал бы я этому барину тропочку.

— Ты поосторожней, брат, — вскипая закричал Аркадий Петрович, — поосторожней! Здесь тебе не совдепия!

— Слышал? Ему дай силу, он такие бараночки завяжет, что из тебя, дядя, с бабой с твоей, вода пойдет. Мало я тебя тогда бил, дурака лысого! Ты что, как святой по земле ходишь? По какому праву? Нынче святые вредные: у трудящего народу в ногах как путо мешаются.

— Ты ответишь мне! — кричал Аркадий Петрович, страдая от своего бессилия.

— Отвечу, коли встренемся. Тебе, видать, не по нашей тропке итти. Да не знаю, много ль найдешь приятности во встрече-то в нашей.

Королев остановился, оправил бороду и сказал примирительно:

— Ты на него не злобься, господин: парень накаленый. Да и то: накалили народ, натрудили, вот он и взъярился. Ежели к кадетам, тебе вправо итти. Ступай, будь здоров. Держи опушкой.

Все еще вздрагивая от обиды, Аркадий Петрович сунул руку в карман, вынул золотой и протянул его Королеву, сказав:

— На, возьми, дядя, за услугу.

— Не требовается, — ответил Королев просто. — Прощай.

— Как хочешь, как хочешь, — пробормотал Аркадий Петрович, пряча деньги, надвинул на лоб шляпу, пегую от дождей, и пошел, сутулясь, вдоль опушки. Ему было холодно. От бессонной ночи стоял в ушах звон и ломило ноги. Какие-то птицы возились в голых сучьях, и где-то далеко — в Листовце, быть-может, — протяжно и гулко ржала лошадь.

IV

На околице, бросив вниз бессильные, иссиня-белые руки, висел мертвый парень; его нарядную сарпинковую рубаху пузырем вздувал ветер; лицо его как-будто изумилось миру: этим осенним, ждущим первого снега полям, этой скованной холодом дали, этому нелюдимому небу. Его рот был раскрыт, и круглые выпученные глаза слегка прищурены.

И было видно, что, раненый, он спотыкаясь бежал к околице, как к последнему прибежищу, к островку спасения, добежал, схватился и повис.

Улица была безлюдна. В прудах, полных зеленой воды, плавали охапки соломы. Убитая лошадь лежала под ветлами, протянув по черной земле тонкие ноги, чересседельник сполз к ее шее, и ее желтые оскаленные зубы были в темной пене. Бурый кабанок, поводя хвостом, стоял подле и тупо смотрел на уже просохшую лужу крови.

Ветер мел по крышам, вздымая солому, как волосы. Избы стояли слепые; там и здесь раскрытые ворота показывали голые дворы, в которых покинуто бродили нахохленные куры. На крыльце школы, стоящей на взлобке, на гвозде, прибитом к притолоке, висело, покручиваясь, маленькое, с поджатыми ногами, тело женщины. На ней была бабья обжимка, жесткая черная юбка, тяжелые желтые чулки. Рассыпанные волосы скрывали ее лицо. На груди ее, приколотая проволокой, серая бумажонка кричала наглой вязью букв: «учительница-большевичка!»

Из бочки, стоявшей у крайней избы, показалась круглая, как арбуз, голова; смятые волосы покрывали ее, как гнездо беспокойной птицы; голубые глаза казались непомерно большими на красном широкоскулом лице. Голова высунулась до подбородка и, не мигая, уставилась на Ковалева, идущего впереди, на его разметанную ветром бороденку.

— Эй, малец! — закричал Ковалев, останавливаясь: — Белые ушли?

Голова нырнула в бочку, потом показалась вновь. Широкий рот пополз к скулам, беззвучно раскрылся.

— Мы добрые, не бойсь. Совецкие мы, — сказал Ковалев серьезно и ласково. — Куда ж народ делся?

— Убег кто куда. В лес убег.

Мальчик высунулся из бочки по пояс, выкинул босую, в струпьях грязи ногу и доверчиво, поводя плечами, стал отряхиваться.

— Ны-да-с, — протянул Ковалев и поглядел на Королева так, как будто тот был всему причиной. — Навели порядку золотопогонники, чеши, мужик, спину.

Он сел возле бочки закурить, свертывал козью ножку, нервно поводя локтями. Его плечи плясали. Зажав свертку в гнилых зубах, он протянул Королеву заношенный, красными цветочками, кисет.

Тот отвел руку.

— Не курю.

— И, что было, что было, — захлебываясь, кривя губы, заговорил мальчишка, — с утра понаехали конные, с пушкой, с пулеметами. Первое — старосту. Старосту знаешь? Петр Петров. Второе — учительшу. Пьяные, а злые. Учительшу знаешь — Марья Никитишна? Он им говорит: «мы мирные», а тот сидит на коню и все плюется, все плюется, потом руку эдак поднял. Что было! А покеда разговаривал, глянь, наших-то нету. Побросали дворы — кто в лес, кто в овраг, за лугом. Здесь начали стрелять, я побег. Гляжу — бочка. Я в бочку.

— А красные где?

— Не знаю.

— Поотступали, чорт их в рот. Ищи их, как деньги.

— Так думаю, что на Листовец пошли красные, — проговорил Королев, поглаживая бороду; невозмутимость не покидала его. — Дай бог им одоления и успеха, чтобы очистить землю от крови.

— Дай бог, дай бог, эх ты, дядя! Молитвенник! Тебе б за чужой спиной чтоб сладко жилось, вот и вся твоя филозофия.

— Я, дружок, человек связанный. Я вот сынов красной армии отдал, а самому мне — хозяйство беречь. Вернутся сыны, спросют: ты что ж, отец, какое, спросют, крестьянство нам сохранил? Может, у тебя земля сорником заросла, может в хате ветер как дома гуляет, может, и скотину последнюю ты поел. Они, сыны—пораненые в боях придут, а у них и угла нету.

— Развел! — сказал Ковалев, сплевывая, ногой придавливая окурок. — Который боец о деревне теперь мечтает, грошовая цена тому бойцу. Вот я, победив контрреволюцию, одну палку, может, в хозяйстве найду. Хозяйствовать после станем. А что, малый, красные давно были?

— Дня три. Боле... дня четыре.

— Куда ж пошли?

— На шасу пошли. Шасой.

— Ну, дядя, — сказал Ковалев, вставая, — прощевай. Сиди тут, в Кузьминском, жди у моря погоды. У меня на тебя сердца нет, так, сгоряча ругаюсь; а того барина, не будь тебя, я бы суком стукнул. Вредный враг. Стукнул бы его суком во имя леворюции, да тебя застеснялся: не любит твоя борода крови. Прощевай — пойду своих искать.

— Куда пойдешь-то?

— Найду! Наша рабоче-крестьянская — она, дядя, ничего, громкая. Отовсюду слышная.

Королев посидел возле мальченки, пока худобокая фигура Ковалева не скрылась за околицей. Вот она была на проселке, и вот канула с глаз долой, скрылась за взлобком.

— Беда, — вздохнул Королев и погладил мальченку по его сваленным волосам, — ты бы бег в лес, скликал бы народ: ишь село, будто после потопа. А я, сынок, тоже пойду, в больницу пойду — там у меня жена лежит, рожает. Больница цела ли?

— А я знаю?

— Не знаешь?

— Може цела, може порушена. Я в бочке сидел.

— Ишь ты, хитрый какой! — сказал Королев, оправил рубаху и медленно, неторопливо ставя ноги, пошел вдоль села. Ветер скашивал его бороду на сторону. Из подворотни кинулась ему под ноги шершавая, вся в волосах, собаченка, он не обратил на нее внимания, собаченка обиженно села на землю, поглядела ему вслед.

У школы Королев задержался, поглядел на мертвое тело, которое раскачивал ледяной ветер, и медленно стал нашаривать в кармане ножик. Потом он взошел на шаткое крыльцо, обнял тело и ножиком перерезал веревку. Маленькое тело было тяжело, как мешок овса. Он положил его на крыльце, отвел от лица рассыпанные волосы.

Синее, искаженное, потерявшее женский облик, оно открылось перед ним. Он отколол бумажку от обжимки, смял ее и бросил за перильца. Попробовал

закрыть глаза — но веки были тугие, тяжелые и не закрывались: пусто глядели мертвые глаза в мир, уже не нужный им. Королев знал учительницу: его ребята бегали в кузьминскую школу. Учительница была некрасивая, но веселая, молодая, жизнь кипела в ней жизнерадостным потоком.

Королев сошел с крыльца. С потемневшего неба падала жесткая стегающая крупа.

К больнице надо было итти еловой аллеей. Ели были полны ветряного пронзительного свиста, их мохнатые опахала напоминали крылья плененных птиц. Ветер доносил издалече гром: где-то за деревней, у горизонта, опять заговорили пушки.

Из-за елей выплыл кирпичный бок больницы, темное окно, затянутое занавеской, широкое и ладное крыльцо. У крыльца, на рогоже, рядком лежали три трупа, покрытые попоной: видны были только белые, как снег лбы. Фельдшерица Маврушка, в шубке, сидела на крылце и дула в кулачки. Ее карие глаза тепло поглядели Королеву навстречу.

— А, Королев! — сказала она певуче, покачала головой. — Хорошие дела были у нас в Кузьминском! Вон трое лежат, подобрали нынче. А еще трое, еще живые, в палате. Слышишь?

— Слышу. Палят.

— Белых гонят. Кузьма, кучер, приехал — сказывал: расшибли на голову.

— Что ж, — сказал Королев, садясь возле Маврушки. — Каждому воздастся по делам его.

Крупа сыпала беспрерывно, и скоро земля стала белой, зимней, холодной. Ветер лютел. По ветру легко бухали дальние пушечные голоса.

— Моя-то как? — тихо спросил Королев.

— Проздравляю, — так же тихо ответила Мавруша, — сынок.

V

Ух, и ночь же встала, черная, мжистая, — не дай бог никому выйти из дому в такую ночь! В елках, тесно растущих вдоль насыпи, хрипло дышал ветер как чудовище, простудившее зычную глотку; раз, другой, моргнул зеленый глаз семафора и — закрылся. Тучи ледяных игл ослепили, заморозили его — и пошел свистеть по скрученному холодом полю осенний бес, притоптывая копытами на окостеневшей земле, хвостом сметая с сугробов снежную порошу.

У-у-у! — кричала тьма, выдрабливая деснами, и под елками, визжа, крутилась жесткая крупа, выговаривая как замерзший человек: бу-бу-бу.

Поезд стоял на запасном пути, длинный, похожий на черную кишку; два передних классных вагона несмело светились, и далеко убегали в темь темные теплушки, пропадая за семафором.

Их было двадцать девять теплушек без печей, набитых обмерзшими солдатами, тесно сжавшимися, чтобы согреть друг друга, но синие тела были как ледяшки, и не грел мертвый дух сапожищ и портянок, топором стоявший в вагонах.

Вылезать было не приказано.

Только два унтера, с пушистыми свисающими усами, похожие на моржей, прыгали на платформе, расходились, подскакивали друг к другу и пихали по очереди кулаками друг-другу в животы. Ветер раскачивал станционный колокол, дзенькавший о столб, светлые ромбы, отброшенные окнами, узорно лежали на снегу палисадника.

Надо было ехать, а ехать не решались: в открытом поле бушующий ветер мог бросить на буфера осеннего беса, — а тот не шутит, разорвет цепи, скинет вагоны под откос.

Его превосходительство сидел в конторе, возле телеграфиста, тяжело дышал и выпуклыми, как стеклянные бусины, глазами, тускло зеленевшими на его кирпичного цвета лице, глядел на белую ленту, топорщившуюся упруго меж корявых, обмерзших пальцев телеграфиста. Трак-так, — покашливал аппарат; лампа-молния, пузатая, без абажура, сипела как муха, пойманная в горсть, стреляя концами широкого пламени. Аркадий Петрович, прижавшись к спинке скамьи, отупелыми глазами смотрел на это пламя. Он смертельно устал от переживаний, от страха, от длинного пути в темном поле, на сквозном ветру. Мысли шли в его голове разорванно скачками. Можно ли верить Полет? — Он настиг штаб в Листовце, и Полет пожалела его оббитые ноги, его иззябшие руки, его пустые безжизненные глаза. Конечно, шпионы не бегают за штабами, как бесхозяйные

собаки. Генерал послушался Полет, но адьютант кривил губы.

Какая боль в висках! Его превосходительство разрешил Аркадию Петровичу стоять в коридоре штабного вагона. У Листовца красные нанесли сокрушительный удар. Их редкие цепи окрепли. Их артиллерия громила местечко. Отступление походило на паническое бегство. И этот ветер, простеганный первым снегом...

Его превосходительство был дороден, пухл, со сдобной грудью, брюзгливое лицо его выражало беспокойство. Трак-так, — кашлял аппарат.

Его превосходительство рявкнул простуженным басом.

— Ну?

— Кра-сны-е по-сты, — выводил телеграфист, ерзая под столом коленями, — по-сты... за-ня-ли... Е-ро-фе-ев-ку, Ерофеевку, — сказал он быстро, оторвав глаза от ленты, и искоса поглядел на генерала.

— Чоррт! — сказал генерал.

Он прошелся, неся за собой запах холода, прилипший к его шинели и к золотившимся погонам, плохо и косо сидящим. С минуту он глядел на таблицу товарного тарифа, пришпиленную к стене; почитал, сколько взимается с пуда применительно к верстам, закинул руку за спину и сделал губами: гум-гум-гум.

— Дальше! — рявкнул он с кашлем.

— Е-ро-фе-ев-ку, — тенором пел телеграфист. — Бро-не-по-ез-да про-тив-ника прошли блок.

И, как давеча, он проговорил скороговоркой:

— Блок.

Испитое, засушенное лицо его вдруг показалось его превосходительству омерзительным. «Г-гадина», — подумал он с бешенством.

— Ну? Какой блок?

— На тринадцатой версте.

— Так это же на соседнем перегоне, собака!

— На соседнем перегоне, да я не собака, — сказал телеграфист, ощерив зубы, как собака.

— Дежурный! — закричал генерал.

Дежурный на деревянном диване, как всегда незаметный, сонный и растяпый, обоими глазами сразу старался увидеть кончик своего носа. При окрике его превосходительства он вздрогнул, приподнялся и наклонил голову набок, чтобы слушать.

— Надо ехать, этак не успеешь помянуть мать родную, как он тебя саданет в задницу. Ехать! Я говорю — ехать! Смеяться нечего... Не сметь смеяться, чортов сын. Обрадовались, лешие!

— Ехать невозможно, — вяло промямлил дежурный и перекачнул голову с правого плеча на левое. — Ветер такой... страсть. На третьей версте уклон и насыпь над полем в осьмнадцать метров. Мыслимое ли дело, нацепили состав в тридцать два вагона. Разорвет.

— А... разорвет!

Шумно дыша, генерал мотнулся к тарифной таблице, потом к столу, к Аркадию Петровичу, испу-

гаино поднявшему веки, посопел носом и тотчас же вышел на платформу.

Два унтера мяли друг друга, сойдясь, и один, приседая, норовил ухватить другого под микитки. В ярости ветер визжал над полустанком, кидая сверху мелкую крупу, твердую, как битое стекло.

Генерал, спотыкаясь о рельсы, пряча мясистый подбородок в воротник шинели, перешел путь и проворно, не хватаясь за поручни, влез в вагон. В коридорчике, освещенном жалобным огарком, стояли притихшие офицеры и курили папиросы, сплевывая на пол.

— Спокойствие, спокойствие, — говорил генерал, пролезая меж ними и шевеля погонами.

Остановясь на середине вагона, он дернул за ручку; дверь, загремев, растворилась и генерал вошел в купе. На столике у окна горела свечка, ветер, дующий из-под рамы, трепал коптящий язык пламени; на полу, под столиком, сипела самогрейка, воняя спиртом и наполняя купе душной, размягчающей теплотой. На диванчике, меж глоб-троттером и японской плетенкой, в расстегнутой беличьей шубке сидела Полет. На бледных щечках ее играл румянец, большие птичьи глаза и острый нос с тонкой горбинкой опять и опять делали ее похожей на совенка.

Генерал взял своей огромной обмерзшей рукой ее теплую ручку, с минуту поглядел на точеные пальцы в перстнях, на синенькие жилки и поцеловал выше

кисти, впитывая в усы запах шипра и женской волнующей кожи.

— Почему мы стоим? — спросила она, мерцая глубокими глазами.

— Я в затруднении, Полет, и, видит бог, мне неведомо, что приказывать. С одной стороны, красные уже заняли соседнюю станцию, с другой стороны такая дудит буря, что мы не можем двинуть состава. У нас в составе тридцать один вагон, не считая локомотива, и все битком, платформы с двумя орудиями и обоз. Нас сковырнет на третьей версте, как камешек. Если бы вы знали, Полет, как мое сердце скорбит за вас.

— Но ведь это так просто, — сказала Полет полусердито, полувесело, — сердито потому, что он глуп, и весело потому, что недогадлив, — нужно отцепить все вагоны, кроме штабного, и ехать, немедленно ехать.

Генерал насупился.

— Как отцепить, Полет? Что вы такое сказали, совенок? Мне отцепить солдат?

— Но ведь через полчаса здесь будут большевики?

— Не через полчаса... скажем, через час. Но, Полет...

— Так лучше же пожертвовать солдатами, чем нами... Они же ничего не сделают солдатам. Ваши солдаты сами все большевики.

— Полет, я старый солдат, я не могу вас слушать.

— Ну, а я? Как же я? Вы хотите, чтобы меня изнасиловал красноармеец? На ваших глазах, да, хотите этого? А мои бриллианты, мой кулон, мои серьги, мой жемчуг? Вы этого хотите, да?

— Полет, — сказал генерал, встав. — Полет, Полет, — повторил он трижды, забеспокоился, замахал руками и, круто повернувшись, вышел. «Пф-ф», — сделал он пройдясь по коридору, и стояли перед ним глубокие молодые теплые глаза, и — чорт его знает — он не знал, что ему и думать.

Офицеры обступили его, он отвечал им, надувая щеки, дрожа не то от гнева, не то от слабости:

— Невозможно, невозможно. Невозможно ехать.

Он закурил, погасил папиросу — потом закурил опять. Прогремела дверь, и из щели звучный голос позвал:

— Владимир Петрович, придите, я прошу вас.

— Закройте дверь, — сказала Полет, когда он вошел. Она сняла шубку, расправила тонкие смуглые руки, обнаженные чуть выше локтя и, расстегнув блузку, приподняла медальон, висевший на груди.

— Поцелуйте здесь, — сказала она тоном ребенка. Голос ее сделался вкрадчивым и движения кошачьими. Генерал засопел, мигнул глазами и, трудно вымолвив «Полет», поцеловал туда, где висел медальончик. Тотчас же нежные руки оплели его голову, прижав к груди, и обветренная генеральская щека скользнула по блузке, оцарапалась о расстегнутую кнопку и ощутила теплоту крошечной и твердой женской груди.

Смеясь, она откинулась на мягкую спинку дивана, и генерал увидел ее бархатные глаза, ставшие большими и дремучими, сверкнувшие голубым огнем и тотчас же спрятавшие этот огонь.

Полет ласкала его голову, прижимаясь руками выше локтя к холодным щекам, уговаривая, как упрямого ребенка:

— Разве так трудно сделать то, о чем просит ваша Полет? Разве это так трудно, ваше превосходительство? И разве Полет не умеет благодарить? Ведь можно отцепить незаметно и уехать без свистка. Кто же узнает? Кому какое дело? Или вы хотите остаться и никогда, никогда, никогда больше не обнять вашей Полет? А что они сделают вот с этой грудью, с этими руками, которые вы любите...

— Что вы говорите, Полет? — бормотал генерал, сползая на колени и трудно дыша. — Но мой долг старого солдата, моя присяга?.. моя родина?.. Россия?...

Он заплакал; слезы катились по выпуклым его кирпичным щекам, застревали в усах, проникали в рот, делая слюну соленой.

— Идите же, Владимир Петрович, — сказала Полет, — ах, можно ли терять столько времени!

На путях ветер выл пуще прежнего; казалось, небо трещало, лопнув на морозе, и было уже трудно переходить через рельсы, — так яростно кидалась под ноги остервеневшая мжица. В конторе Аркадий Петрович поднялся ему навстречу. Телеграфист спал, нелепо

и по-детски торчали вихры на его затылке, на столе лежала поношенная фуражка с желтым кантом.

Дежурный приподнялся навстречу генералу, сказал: «дверь не забудьте притворить-с», и зевнул в горсть.

— Вот что, милый человек, — громко проговорил генерал, надуваясь, — необходимо выйти из положения. Как вам, я полагаю, известно, командный состав армии играет первенствующую роль, более, э-э, активную, нежели солдатская масса. Он нерв армии, ее, так сказать, мозг, ее руководящий центр. Чоррт, к чему я вам читаю лекцию-с? Слушать! Прикажите стрелочнику отцепить два штабных вагона и локомотив, не-мед-лен-но. Мы принуждены ехать во что бы то ни стало.

Дежурный слушал долго, потом наклонил голову к левому плечу.

— Поняли-с?

— Сейчас распоряжусь, — молвил дежурный вяло.

Аркадий Петрович испуганно поплелся за генералом. На платформе к генералу подошли унтера, они были зазябшие, жалкие и, говоря, едва ворочали омертвевшими губами.

Один из них спросил:

— Как, ваше превосходительство, скоро теперь тронемся? Иззяб солдат, ваше превосходительство, замерз солдат. Дело бы уж какое, что ли, ваше превосходительство.

— Ничего, голубчик, вот мы сейчас, — забормотал генерал, ворочая лицо прочь от глаз унтера. — Этого... пошевеливайся, стрелочник, — крикнул он нырнувшей в темноте фигуре.

Унтер насторожился.

— Это к чему же стрелочник, ваше превосходительство? Ай паровоз отцеплять?

Генерал нахохлился, вобрал голову в плечи и неожиданно для себя вдруг гаркнул басом:

— Молча-ать, сукин сын! В распоряжения лезешь?

И жадно, с ретивым сердцем, глядел, как вытянулся унтер, поглядев на него в бессмысленном обалдении, потом сделал два шага назад, отошел к товарищу, и оба остановились в стороне, у станционного колокола, молча и враждебно приглядываясь.

Генерал, поеживаясь под их взглядами, следил за тем, как тощая, хмурая фигура стрелочника в коротком полушубке до колен и мохнатой шапке с лисьими ушами нырнула под вагон, и сейчас же заскреблись цепи, напряженный голос стрелочника выговорил: «э-ка, м-мать родная!» Генерал пошел к вагону, за спиной его вялый голос дежурного крикнул:

— На паровозе, эй! Держи жезл!

«Кричит, скотина», — подумал генерал, под шинелью по спине его прошел холодок. У локомотива с душным свистом заклубился пар, заледеневший снег

под топкой осветило оранжево-красным, похожим на солнце, пламенем. Генерал взялся за столбики поручней, обмотанных замшей, чтобы на холоде нельзя было обжечь рук, и уже подымал свое сдобно сбитое тело, когда сзади, за карман, его схватили резкие сердитые руки.

— Куда стреканул? — сказал позади унтер остервенело-весело. — Ловкай!

Другой засмеялся по-бабьи, молвил недобро:

— Генералы! Солдат за него помирай, солдат ему чин зарабатывай, а как ежели что, так солдат пропадом пропади. Кишка коротка, ваше превосходительство.

Генерал рванулся, но руки держали крепко, его объял ужас и вдруг вялым бессилием свело колени.

— Братцы, вы это что?

— Давай, ваше превосходительство, по-хорошему. Вместе на Москву шли, вместе и в лататы пойдем.

— Братцы...

— Чего ж братцам в морду-то плюешь?

— Ма-лчать! — гаркнул генерал, с восторгом ощущая, как в размякшую душу его клином входит остервенение. Вырвавшись, он рванул дверь, раскрывшуюся с треском, и, видя перед глазами прыгающие черные мячи, закричал басом в темноту вагона:

— Адьютант Рамзай, приказываю вам немедленно занять локомотив. Угрожайте машинисту оружием в случае отказа ехать. Р-расторопнее, поручик.

Юноша с тонким девичьим лицом, еще не знающим бритвы, в кожаной куртке, блестящей, словно облитой водою, легко соскочил вниз, взмахнул руками в вязаных белых рукавичках. Аркадий Петрович бочком пролез в вагон, прошел в тамбур и остановился у окна; сердце его ныло, плакало, билось с глухим и тошным шумом.

Вдоль поезда, топчась от сумятицы, уже бегали солдаты, крича и сталкиваясь друг с дружкой, и сиплые от стужи голоса надрывались, относимые ветром:

— Братцы, вылазь! Ложись на рельсы, братцы, пущай по телам по нашим едет!

Генерал стал на площадке, грудью загородив вход, сжав кулаки, зная, что первому, кто кинется, тяжко даст в морду.

Ветер ревел, скребя по вагонным обшивкам, поезд дрожал, звеня стеклами.

И вдруг, разодрав скованный воздух, пронзительно и тонко рванул свисток; ухнул пар, колеса взвизгнули, палисадник с голыми тополями, неистово пущими сучья, поплыл назад плавно и медленно.

— А-а! — закричали солдаты.

Генерал закрыл глаза. В гремящем ходе двух вагонов, оторвавшихся от состава, вдруг ярко представились генералу темные тела солдат, плашмя легших впереди на рельсах; переднего ударил буфер, смяли колеса, задние вскочили, шарахнулись вбок, ругаясь истошно, в ярости топая сапогами.

«Тру-ту-ту», — запели колеса, ветер усилился, ледяной темнотой обняли голые поля. «Тру-ту-ту», — пели колеса; дзбень, дзбень, — моталась цепь, лязгая о буфер.

В вагоне молча, прижавшись в дверцам купе, стояли офицеры, свеча горела тускло и растерянно, пахло клеенкой, морозом, уборной. Аркадий Петрович, прячась в тамбуре, крестился мелкими, вороватыми крестами.

Генерал, стукаясь о стенки от тряски, дошел до купе, отдернул дверь, вошел, закрыл дверь и тяжело повалился на чемодан. Полет, забравшись на диван с ногами, сжавшись комочком, смотрела на него веселыми смеющимися глазами. Было тепло от самогрейки и невесело, и весело от этих влажных женских глаз, всегда мучительно-желанных.

Тру-ту-ту, — пели колеса, а в такт им подрагивали у Полет каштановые завитки, небрежно брошенные у рубиновых сережек.

На уклоне бег поезда ускорился, бледные пятна на земле, брошенные окнами, мчались плавно и шибко; ветер выл, мел, закручивал в одиноких полях... Ух, и ночь же была, прости господи! Осенний бес, трещa копытцами, юлил по сугробам, прыгнул, поджал хвост, поглядел на бегущие вагоны и сказал, ежась:

— Сволочи.

ЧЕРТОПОЛОХ

БЫЛЬ СТАРОГО УЕЗДА

I

В город, лежащий среди пригретых солнцем степей, приехали трое: маленький горбатый человек в заношенном костюме английского сукна очень крикливого рисунка, двадцатилетняя высокая девушка с туповато-красивым, неподвижным лицом и гражданин с осанкой человека, которого уважают, ценят, и который за всю свою жизнь не прожил еще ни одного порожнего дня. Горбатый человек и девушка приехали вместе, в третьем классе, и сами вынесли свой багаж, свои пальто и вывели на цепочке облезлую, дряхлую мартышку; гражданин, не проживший ни одного порожнего дня, вышел из вагона второго класса, и его удобный кожаный чемодан вынес на плече носильщик.

Было очень рано, на всем лежали следы ночной прохлады, на станции метельщик сметал окурки под лавки и прыскал из чайника на пыльный пол; буфет

был закрыт, на стойке, сложив руки крест-накрест, разинув рот, тупым сном спал буфетчик. Помощник начальника станции понес машинисту жезл, скосил красные от бессонницы глаза на мартышку и сказал с восторгом:

— Ба, обезьяна!

Потом поглядел на девушку, подумал, что красивая, и понес жезл на паровоз. Жизнь в городе этом, пригретом степным солнцем, была точна, как численник, тепла, как спальня мещанина, пахнущая лампадным маслом, отрыжкой и ласками законными, и покойна, как шарабан на резиновом ходу; и такие же точные, теплые, спокойные жили здесь люди.

Трое приехавших вышли на станционное крылечко, все усыпанное листьями тополей, потому что близки были уже первые холода, и деревья отряхивались; извозчики, стоявшие у забора, пришлепнули губами, вынули кнуты из-под задниц, сказали хором: «Пожжалте-с», — и залюбовались обезьяною, смеясь в бороды; обезьяна же подняла малиновую юбчонку и сделала неприличное.

Горбатый человек свалил с плеч сундук, отдышался и проговорил ломаным языком:

— Извошшик, ступай в гостиницу подешевлей.

— Три гривны.

— Это дорого.

— Такция такая, у нас без торгу, — бойко молвил молодой красногубый извозчик. — А за обезьяну на чаек.

Извозчики захохотали враз, а один, старый, так и пристукнул ногой в веселии; и было тут много разговору о мартышке, о горбе человека в пестром костюме и предположений о том, кто такие будут приехавшие люди.

Люди с обезьяною сторговались наконец, горбатый человек взвалил на пролетку деревянный свой сундук, перехваченный веревкой, заботливо усадил молодую красавицу, оправив на ее коленях юбку, ее жакет, и передал ей в руки обезьяну, потом забежал сзади, почти не разгибая колен и размахивая длинными сухими руками, и присел сбоку, на краешек. «Трогайт», — молвил он, касаясь пальцем спины извозчика, тот сделал вид, что вынимает кнут, пролетка двинулась, и колеса запылили немощеной дорогою.

Гражданин с достойной осанкой поглядел, прищурясь, вслед молодой красавице с обезьяной, перекинул с руки на руку летнее светлое пальто и сел, не торгуясь, в первую пролетку. Он не был стар, хотя в русых волосах его кое-где серебрились седые волосы, не был полон, хотя движения его и потеряли былую легкость, не был дурен, но в лице его было что-то не то: тонкий острый нос как-то не уживался с пухлыми губами, брови как-то не шли к мутным, цвета бутылочного стекла, глазам. Был он, видно, самоуверен, умел говорить с людьми не только второго, но и первого сорта, и кошелек его навряд ли бывал когда-нибудь пуст.

Дорогой, проезжая мимо деревянных домиков, щеголявших резными карнизами и клумбами в уютных палисадниках, он расспросил извозчика о видных людях города, о городском голове и супруге его, об исправнике и супруге его, о чиновниках палаты, казначейства, суда и супругах их и, наконец, очень настойчиво спрашивал о чиновниках того управления, к которому сам был причастен, и о супругах их.

— Господь е знает, — отвечал извозчик, настегивая лошаденку.

Ответами извозчика гражданин остался недоволен. Проехали мимо водокачки, откуда бабы, шатаясь под тяжестью, носили полные ведра на коромыслах, мимо долгого ряда лавок с прибитыми на дверях кусками красного, синего, пестрого ситца, и, свернув у собора, ударились влево, слегка под откос. Здесь на покатой улице стояла гостиница «Столичный двор», первая в городе и последняя. У крыльца стоял уже знакомый извозчик, коридорный стаскивал с пролетки сундук, а горбатый человек, вынув горсть медных и белых монет, перекладывал по одной в протянутую ладонь извозчика, говоря:

— Один... десять копек... пятнадцать копек... двадцать копек...

Красавица, прижимая обезьяну к груди, стояла в ожидании на крыльце под фонарем и в упор глядела на подъехавшего гражданина, прищуря близорукие глаза; он увидел ее большое, но не полное, очень красивое лицо с сочными крепкими губами, по-

чти синие брови, прямые, как спицы, и густо-черные выпуклые глаза под ними; лицо ее было неподвижно, а взгляд не выражал ничего. Мартышка покорно сидела у нее на руках, склонив плешивую голову. «Красивая», — подумал гражданин о девушке, и тотчас ему стало весело, захотелось озорничать и подумалось, что на свете божьем все можно и все мило.

В сенях гостиницы на стене висели часы с изображением царя и царицы на циферблате, под ними — календарь, а за бюро в пикейном пиджаке, добросовестно ношенном, сидел хозяин, человек с голой головой и в очках, имевший такой вид, что вот дрянно все, следует осерчать и осерчал бы, да что толку! Он поглядел на вошедших сквозь очки, потом поверх очков, придвинул тетрадь и сказал петушиным голосом:

— Рад гостям, паспорта пожалуйте-с, не обессудьте.

— Я хотел бы иметь комната подешевлей, — предупредительно молвил горбатый человек, глядя в ожидании, с испугом, что не найдется дешевых комнат.

— При них обезьяна, — веско сказал коридорный.

Хозяин поглядел поверх очков, потом через очки, пошептал сам с собой и задумался над тем, следует ли пускать в гостиницу обезьяну.

— Послушайте, отведите мне комнату получше, — нетерпеливо проговорил гражданин, тот, у которого не было ни одного порожнего дня в жизни.

Это имело вес. Тотчас же гражданина повели наверх, и, поднимаясь по лестнице, застланной красной дорожкой, он оглянулся на девушку и встретил все тот же тяжелый прямой взгляд — и пугающий, и зовущий, и не говорящий ровно ничего. «А красива!» — подумал он снова.

Гражданину отвели большую, в три окна, комнату с кушеткой, столом, креслами и шкафом, с видами на крыши домов, на кудрявые сады, кое-где уже желтеющие, и на степь без конца и края. Горбатому человеку, красавице и обезьяне комнату выбрали попроще, потемней, без кушетки и стола, с видом на застланный соломою двор. Спустя полчаса хозяин послюнил пальцы, достал из конторки кусочек мела и, подошед к черной доске в простенке, написал в графе номер один:

Душенька, чиновник из Петербурха.

И в графе номер два:

Мурильо с дочерью, артист.

II

Жизнь Душеньки напоминала сплошной праздник, сплошные святки, то веселое время, когда во всех детских зажигают елки и дети кушают сласти — дети кушают сласти, а взрослые глядят, как они кушают, и радуются этому. В иные дни Душенька чувствовал себя ребенком, сосущим леденец, в иные дни — взрослым, который дарит леденцы, и так шла

его жизнь: в субботу, скажем, по детскому, а в воскресенье по взрослому. Жил он не оглядываясь, любил, когда любилось, работал, когда работалось, и не успели подумать, как по службе достиг степеней видных; и сквозь всю его жизнь продергивалась сияющая ленточка смеха, его собственного и особенного смеха, весьма приятного для дамского слуха и весьма заражающего мужчин: он смеялся с открытыми глазами, красиво обнажая зубы и колыхая телом так, как если бы рысью ехал на иноходце.

Он не женился потому, что слишком хотел жениться, а вследствие этого был щепетилен, капризен и эгоистичен; он был по натуре добр, но слишком много думал о том, что он добр, и потому от доброты его никому не было тепло. Он уважал силу, влияние звезды и отличия, любил, чтоб его уважало начальство, а потому и делал так, что начальство его уважало: ухаживал за женой начальника, за женой помощника начальника, и, наконец, за женой столоначальника. Первая была брюнетка, вторая — блондинка, третья — и то и другое, в зависимости от краски для волос; первую он звал «чертеночек», вторую — «бесеночек», а третью — и так и этак, в зависимости от цвета ее волос. «Чертеночек» был страстный, и Душенька был страстный, «бесеночек» признавал платоническую любовь, и Душенька признавал платоническую любовь, «чертеночек и бесеночек» (смотря по цвету волос) любил и то и другое, и Душенька любил и то и другое. Скоро стал

он столоначальником, а там и выше, а там пришло и молодое генеральство, и был назначен он на должность весьма ответственную, доказывающую доверие начальства, с солидным окладом и суточными на разъезды.

В дороге Душенька утомился и поэтому был рад запереться у себя в номере, отфыркаться у умывальника, под струей холодной воды, сменить белье и прилечь на часок, собраться с мыслями и набросать в уме план несложной уездной ревизии. «Уверенность, решительность, солидность», — повторял он любимые свои принципы, а мысль вертелась, отбегала в сторону, и вдруг всплывал образ холодной красивой девушки с высокой грудью, высокой талией и омерзительной обезьяной на руках. Он долго прилагал усилия, чтобы не думать о девушке, а думать о ревизии, пускаясь на всякие фокусы, — представляя себе ревизию в виде строгой, холодной, надменной старухи, но лицо ревизии начинало тускнеть, расплываться, редеть, и сквозь него просвечивали красивые, прямые и тяжело смотрящие глаза, плотные красивые губы, и во весь рост сызнова вставала девушка с высокой грудью и с лысой обезьяной на руках. Наконец Душенька сдался, послал к чорту ревизию и как понятие отвлеченное, и как надменную старуху, вздохнул и принялся думать о красивой девушке и строить в фантазии своей самые диковинные происшествия.

В дверях раздался стук. Сердце Душеньки сжалось в сладком предчувствии, он вскочил, мимоходом

глянув в зеркало и прижав ладонью всклокоченный затылок, оттянул задравшиеся брюки и крикнул молодым голосом:

— Прошу!

Дверь неторопливо, ударяя на звук «ю», поплыла в петлях; выждав, когда щель оказалась достаточно широкой, вошел фокусник Мурильо; он казался теперь более простым, чистым и обыкновенным, на нем была темная куртка, несколько излишне узкие брюки, провисавшие на коленях, и под самым подбородком небрежно и вольно повязанный малиновый бант. Очень облысевшая голова его была тщательно причесана и благоухала сильно режущим, приторным запахом помады.

— Пардон, — проговорил он, отменно грассируя, и поклонился театрально. — Имеете ли вы время pour un visiteur innatendu? О, всего один минут, c'est tout. Я извиняйт, я буду задерживать недолго.

— Входите, входите, не стесняйтесь, — сказал Душенька, жадно заглядывая за спину Мурильо, но никого не видя за ней.

Мурильо вошел, затворил за собою дверь, взял стул и сел, подняв горбатые плечи.

— Eh bien, — сказал он, сверля Душеньку злыми глазками, которые, лишь он приподнимал седые брови, становились кроткими и жалостными. — Я спрашивал у хозяин, вы есть один большой человек из Москвы. Я не есть один большой человек, я простой скром-

ный артист, фокусник Мишель Мурильо, который много страдаль, о можно мне верить!

Душенька глядел на него с любопытством.

— Вы мне могли бы сочувствовать и, может быть, помогайт, n'est ce pas? Большой человек имейт большое сердце.

«Просит денег, — поморщился Душенька, — отказать? Одолжить — непрятно!» Машинально рука его полезла за борт пиджака, к бумажнику.

Мурильо грустно покачал головой.

—О, вы меня не понимайт, я не имею нужды в деньги, не нужно, мерси. Я подумаль себе: большой начальник, большой человек, почему он не помогайт мне? Я много страдаль.

— Мне показалось, милостивый государь, что мы с вами приехали в одном поезде. Кто эта девушка, которая приехала с вами?

— О, мосье, это моя дочь. Я имель еще один сына, но я потеряль его в этом городе, три года назад, по середина... Comment dire?.. На середина, au milieu de l'été.

— Он умер?

— О, мосье, он не умер! О, мосье... он остался тут, в этом городе, мой маленький крошка Люлю. Что я мог делать? Этот человек имел знакомый исправник и полис, у него сила, у меня есть один маленький мартышк и одна дочь. Этот человек хваталь моего сына посреди... на середина... en plein jour и похищаль.

Глазки Мурильо замигали часто, и стало ясно, что он стар, изношен, гнил, и всякий, кому любо это, может сделать с ним любую гадость и, как хочет, измываться над ним.

— Кто же такой этот человек? — спросил Душенька слегка растерянно, ощутив, что сердце его тронуто, и подумал тут же: «Уверенность, решительность, солидность».

— Этот человек?

Душенька ждал напряженно.

— Этот человек? — переспросил Мурильо с загоревшимися глазами и, привстав, ткнув сморщенным острым пальцем в воздух, бросил жестко:

— Волосатов!

Затем воцарилась тишина, и Мурильо круглыми, полными слез глазами глядел прямо в зеленоватые, цвета бутылочного стекла, глаза Душеньки. Душенька беспокойно двинулся на стуле своем.

— Позвольте, позвольте,—забормотал он, крутнув головой,—Волосатов, говорите вы? Какой Волосатов? Почему? Мне не по душе такие шутки, милостивый государь. Волосатов — начальник местного управления, на хорошем счету, очень исправный, скажу более того, очень щепетильный и дельный чиновник. При чем тут ваш сын? Я не знаю никакого вашего сына, и, смею надеяться, господин Волосатов также не знает, не знал и не будет знать вашего сына. Позвольте, я не разрешаю вам этих шуток.

— О, мосье...

— Позвольте, позвольте... Нет, вы уж не извольте так, позвольте, я не разрешаю вам так.

— Мосье, мосье, — жалобно и с укоризною покачал головою Мурильо и молитвенно сложил руки. — Имею ли я смелость шутить от вас? Мой сын, он выступаль со мной так же, как и моя дочь, и я делаль с ним телепатический фокус, и он подаваль мне яблоки, карты и аппарат для фокус так же, как это делайт моя дочь. О, мосье! Я страдаль три года, три года, и сказаль себе: Мурильо, ты имеешь любовь, ты поедешь в этот ужасный город и ты сделаешь себя употребить... употребить... jouer de son reste и ты увидишь, что есть бог.

— Нет, уж позвольте мне не слушать вас, милостивый государь — повторил Душенька, вставая и подаваясь вперед грудной клеткой, как это делал его начальник в минуты запальчивого раздраженья. — Я вынужден даже сказать вам, что сожалею о нашем знакомстве. Не извольте быть в претензии, но я сожалею.

Мурильо стоял перед ним, опустив длинные, ниже колен, руки, повисшие плетьми, и Душенька стоял перед Мурильо — оба молчали и оба глядели вниз, Мурильо на носки сапог Душеньки — Душенька на носки сапог Мурильо. Крепкие шаги застучали в коридоре. «Что, если ко мне!» — подумал Душенька мучительно и прислушался, высчитывая: раз, раз, раз. Шаги смолкли возле самой двери, и раздался сухой стук.

— Прошу извинить меня, — сказал Душенька.

Тот выпрямил согбенные свои плечи, поглядел на живот Душеньки, потом на грудь, потом на подбородок и, вдруг глянув прямо в глаза, молвил с дерзкою насмешкой: — Oh, de bon coeur!

Дверь распахнулась, и высокий, худой, одетый изящно человек показался на пороге; бросился в глаза его острый нос, непомерно длинный, и презрительные глаза, наполовину скрытые коричневыми веками. Он остановился, пропуская Мурильо, и тут поднял свои тяжелые веки, глаза их скрестились. Мурильо не выдержал взгляда, побагровел до висков и тихими шажками вышел прочь. Худой человек прикусил губы, лицо его дернулось, но он совладал с собой, вздохнул два раза и, шагнув за порог, проговорил трескучим голосом:

— Честь имею, ваше превосходительство, Волосатов.

III

В этом городе всюду куда ни кинешь взгляд, рос чертополох — буйно, дерзко, раскидисто, наползая на заборы, глуша сады, цапая за юбки модниц местных и протыкая коровам мягкие теплые морды. Напрасно мальчишки, сойдясь к водокачке раскурить трубку войны, вдруг с визгом, гвалтом и улюлюканьем кидались оравою на его неукротимые побеги и сшибали палками, мяли голыми пятками иглистые шипы; к утру он снова оправлялся, разминался, наливался силой злющей, и заново стояла стеною нерушимая

рать. Пробовали скашивать его, — а он выпирал из земли—новый, крепкий, крутой; пробовали каменьями бить — куда там! Рос. Ах ты, мать честная!.. Все от господа — и человеки, и города, и чертополох.

В то время, как Душенька и Волосатов уныло ехали в дребезжащей пролетке, следуя в присутствие, Душенька обратил внимание на засилье чертополоха, однако, не спросил об этом из боязни прослыть человеком, плохо знающим провинцию. Много более чертополоха занимал его сосед. Был он стар и сухощав на вид, тщательно выбрит, вкусно одет, но неприятен, и очень трудно было понять, чем именно неприятен он: манерою ли вести разговор, трескучим ли голосом, или веками, закрывавшими глаза наполовину, как чехлы. Не то, чтобы он мало выказывал уважения, но и угодливости в нем не было видно, а тем более трепета, будто он равен с начальником по чинам, либо высватал у него дочь единственную. И сидеть с ним было неприятно, неспокойно.

Боясь этого ощущения беспокойной неловкости, Душенька пробовал вызвать его дорогою на разговор, — а ведь, казалось бы, должно было случиться наоборот.

— Скажите, друг мой, успешно ли протекает работа в присутствии? — спрашивал он, ловя себя на улыбке, любезной сверх меры.

— Тотчас же иметь буду честь ознакомить вас с нею на месте.

— А каковы, приблизительно, притоки денег за последние месяцы? Когда народ больше пьет, зимой или летом?

— По праздникам, — отвечал Волосатов.

В ответ его была словно бы ирония, а посмотришь в лицо, — так словно бы и нет. Душенька снова принимался за расспросы, спохватывался, говорил себе: «Уверенность, решительность, солидность» — и снова расспрашивал.

— Ну-с, приехали-с, — проговорил Волосатов.

Извозчик поднял продранные, залатанные локти и откинулся назад, сдерживая своего одноокого Россинанта. Волосатов соскочил, опираясь на трость, и ждал, когда сойдет Душенька, забыв предложить ему руку либо так или иначе выказать внимательность. Управление помещалось во дворе, во флигеле с крылечком, резанным петушками, и железной нежно-зеленой кровлей. Окошки глядели чистенько, умыто, на обитой клеенкой двери кнопочками был пришпилен картон, увещавший посетителей вытирать о скобку ноги. Умытый вид флигелька привел Душеньку в снисходительное настроение, заметно отразившееся на его походке, улыбке и заалевшихся по молодому щеках.

— Честь имею,—сказал Волосатов, открывая сухой рукой дверь на болту, с привязанной за веревку бутылкой с песком,

Душенька наклонил голову и проследовал в присутствие. Присутствие ни видом своим, ни характером

людей, сидевших за столами и конторками и немедля вставших при его появлении, ничем не отличалось от всех провинциальных присутствий, разве только было вызывающе чисто — ни одного окурка под столом, ни одной бумажки на полу, ни одного несвежего воротничка либо ворота русской рубахи на чиновниках; в углах плевательницы, и на конторском большом календаре именно то число, которое полагается. Встав, служащие отвесили поклоны вразброд и недружно, но очень почтительно. Из-за самого большого стола, более других заваленного синими папками, вышел благообразный старичок в чесучовом пиджаке и с массивной, малой пробы, цепочкой по животу; лицо у него было розовое и губы сердечком, глаза же умильно-угодливы.

— Петр Петрович Вата, — представил его Волосатов, — главный бухгалтер, он же и мой ближайший помощник. Если есть на свете абсолютная честность, то он — абсолютная честность. Если есть на свете абсолютная нравственность, — то он абсолютная нравственность. Архаический человек.

Вата залился краскою, как юноша, пронзенный любовью в самое сердце, и, протягивая мясистую ладонь лодочкой, коснулся ею не менее мясистой ладони Душеньки. «Он похож на севрюгу, такой, каналья, розовый», — весело подумал Душенька и, говоря: «Ну-с, приятно обрадован знакомством», стал обходить столы, пожимая руки служащим, даже низшим, ибо любил думать, что либерален.

Служащие были молодые и старые, вихрастые, лысые и богато ошевелюренные, пола мужского и пола женского, и о каждом из них Душенька думал что-нибудь смешное: «Этот похож на сома сонного, а эта, эта недурна, материалец есть. Недурна. Ну, а этот вихрастый — настоящая ламповая щетка, по вечерам, поди, колотит жену. А эту, ежели в купальне поглядеть, так пожалуй...» Тут он подумал неприличное.

— Захар Григорьич Ящур, — говорил Волосатов, иронически усмехаясь, — письмоводитель. Пишет стихи, а говорит, что не пишет, посылает в журналы, где их не печатают, а говорит, что не посылает. Идея в панталонах.

И Душенька глядел на письмоводителя, думая: «Оробел, испугался. О, люди!»

— Валентина Прокофьевна Яковлева, машинистка, — продолжал Волосатов, подводя Душеньку к девушке белой, как ландыш, с глазами, полными жгучей пучины. — Королева захолустной нашей жизни.

И Душенька глядел на королеву. «Ух, — думал он, — глазищи! А что, доступна? Как это у них здесь, в чертополоховом царстве? Вероятно, вокруг аналоя, а иначе ни-ни...»

И засмеялся, думая: «А иначе ни-ни, о, протобестия!»

— Кассир Миловидов, Иван Васильич. Приди революция — будет Маратом.

Душенька глядел на кассира.

— Мирахов, журналист, по части входящих и исходящих. Юн. Про иных говорят: далеко пойдет. Он не пойдет никуда. Не пойдете, Мирахов?

—Куда? — спросил Мирахов и грустно улыбнулся.

— Ах-ха-ха!— смеялся Душенька так, как только он один умел, с открытыми глазами и колыхаясь точно на рыси; а и в шутливом настроении все же Волосатов был ему неприятен, и шутки его, сказанные скрипучим голосом, таили в себе нечто бессмысленно-ядовитое... Он вгляделся в Мирахова, но в медного цвета лице его прочитал лишь почтительное смущение и ни тени недовольства. «Он похож на клоуна из цирка, которого бьют по щекам, а тот хохочет», — подумал Душенька о журналисте, между тем как Волосатов уже открывал дверь в кабинет свой, приглашая:

— Честь имею. Радуюсь случаю дать вам отчет в работе присутствия и ознакомить вас, ваше превосходительство, с дальнейшими планами нашей деятельности, отечеству рачительной. Не откажите, Петр Петрович, войти вслед за его превосходительством на предмет подкрепления моего доклада фактами и оправдательными документами. Ваше превосходительство, прошу сделать честь.

Кивнув головою чиновникам, Душенька вошел в открытую дверь и оказался в крошечной, веселенькой и опрятной комнатке, где мебель была расставлена на свойский и весьма ухищренный манер, безо

всякой симметрии и с явным намерением оскорбить уездный вкус. Письменный стол уместился по наклонной линии к стене, этажерка была прижата ребром к конторке, и кожаный диван и такие же кресла расставлены были так, что ежели бы два собеседника сели в них, то ноги их глядели бы в разные стороны, и пришлось бы сильно поворачивать головы, чтоб друг друга увидеть. Петр Петрович Вата, ступая благообразно и беззвучно, подкатил кресло к столу, в которое его превосходительство и сел, чувствуя себя связанным и в движениях и в мыслях; Волосатов сел за стол, а Вата остался стоять, заложив руки за спину и скашивая на Душеньку угодливые глаза.

— С чего изволите начать? — спрашивал Волосатов, мягко перебирая дела в обертках, при чем коричневые веки его почти совсем занавесили глаза. — У меня метод работы несколько деспотический. Когда мы с Петров Петровичем получаем циркуляры, мы добросовестно читаем их, но придерживаемся их лишь в необходимых рамках, ибо всякий человек, не лишенный чутья государственности, знает, что весьма часто местные условия заставляют быть до известной степени автономным и руководиться законной личной инициативой. Я имею случай доложить вашему превосходительству об этом не потому, что в деятельности моей могут найтись кое-какие отклонения от предначертаний центрального органа, но потому, чтобы до известной степени подготовить вас

к толкованию наших с Петром Петровичем особенностей в работе.

— Какие же это особенности, например?

— Осмелюсь доложить,—вставил Вата, торопливо наклоняясь,—что я, будучи воспитан в иерархических, так сказать, принципах, никогда не брал в свои руки инициативы.

— Хо-ро-шо-с,—сказал Душенька, барабаня пальцами по кожаным подушкам на подлокотниках. И подумал: «Уверенность, решительность, солидность».

Волосатов начал издалека; бочком, бочком бежала его мысль, прячась в закоулки, забегая в тень, и вдруг становилась наглой, кричащей: «вот я какая, голенькая!»—и вдруг расшаркивалась, и вдруг становилась строгой, педантичной, а там снова бежала бочком, там снова ускальзывала. Ничего нельзя было осмыслить. Душенька щурился, закрывал глаза, откидывал голову на спинку кресла, глядел на сухие губы Волосатова, на губы Ваты сердечком, а мысль юлила, скакала, сверкала голыми пятками. Зажмурив глаза, вдруг увидел Душенька егозливую бабу перед собой, которая то монашкой прикинется, то заговорит басом по-мужски, и была та баба—верткая мысль Волосатова. Выходило так, что он прячет что-то, а, может, и не прячет, а, может, льстит, но, пожалуй, и того, не льстит. «Фу ты, чорт!»—мысленно выругался Душенька, сел поудобнее в кресло и перестал слушать.

— Вот, неугодно ли, апрельская ведомость, — говорил Волосатов, и Душенька, хлопая глазами, глядел на разграфленные листы, унизанные завитушками цифр, итогами и балансами. — А вот, изволите ли видеть, ведомость за маи месяц, — и Душенька видел новые разграфленные листы с новыми завитушками цифр. Все это он видел, но ничего не доходило до ума, и оставались только зрительные впечатления черточек, закорючек и написанных от руки слов. «Когда же он кончит?» — подумал Душенька, и тотчас же голос Волосатова произнес:

— Итак, с отчетом кассы мы кончили. Имеете ли что-нибудь возразить?

— Д-да, — сказал Душенька устало. — Благодарю. — Он с радостью ухватился за это слово, как за выход из тягостного положения, и повторил его с чувством: — благодарю. Очень образно — правда, не академично, несколько... э-э... смело, но образно, вдумчиво. Благодарю. И вас, Петр Петрович.

Волосатов тонко улыбнулся, а Петр Петрович покраснел.

— Перейдем к стороне, так сказать, идейной? — спросил Волосатов. — Ибо в работе, как и в любви, предполагаются две стороны: физиология и платоника душ.

Но Душенька утомился и попросил платонику душ отложить на завтра, вслед за этим он встал, проглотил зевок и поперхнулся им. Он потряс руку Волосатова, потом руку Ваты.

— Буду ли иметь честь ожидать вас у себя? — спросил Волосатов почти сухо, но в общем очень довольный. — Гостиница у нас — рассадник меланхолии и клопов. Я же имею старомодный, но все же дом, и жизнь у меня похожа на жизнь игумена: ни женщины, ни шума.

Душенька, человек мнительный, а потому заболевающий легко, согласился с радостью.

В то время как Волосатов вышел заявить об окончании присутствия, Вата подошел к Душеньке и зашептал ему старческим говорком, при чем лицо его стало пунцово и лоб потен:

— Не верьте-с, ваше превосходительство, ни единому слову не верьте-с. По службе масса упущений, могу доказать с документами в руках-с. Страшенный он человек-с.

И, нагибаясь к самому уху Душеньки, прибавил таинственно:

— Раз-врат-ник. Ходит-с у нас тут слух...

— Молчите, когда с вами не разговаривают!— крикнул Душенька фальцетом, и сам не ожидал, что крикнет так.

Голова Ваты стала белой, как мрамор. Вошел Волосатов, поглядел на Вату, и лицо его посерело, как давеча, когда в дверях гостиницы он встретил фокусника Мурильо.

IV

В тот же вечер в зале Общественного Собрания присутствие чествовало столичного гостя ужином. По

случаю теплой погоды столы составили на балконе, убрали лампами в шелковых абажурчиках, и все работали со всем усердием: повар сбился с ног, обегав рыбные, зеленные и гастрономические лавки, так как ни на кого не посмел положиться, зная, что народ в наше время ленивый и вороватый. Общество село за стол в десятом часу. Ветер, вернувшийся к вечеру со степных курганов, был нежен, тепел, зацелован травами и зеленью. Из сада доносились звуки оркестра пожарников и безмятежный говор толпы. На открытой сцене фокусник Мурильо давал сеанс опытов, основанных на ловкости и проворстве рук и отнюдь ничего общего не имеющих с волшебством, ни с черной магией, чего, как известно, не одобряет православная церковь. Там, у сцены, горели мутные газовые фонари, процеживая свой зеленый свет сквозь листву и бумажные флажки, протянутые гирляндами от дерева к дереву, и в просветы между кустами были видны яркие платья женщин, темные пиджаки мужчин, и слышался смех, выкрики и шмыганье ног по песку.

Были съедены майонез, битки по-малороссийски, салат оливье, раки и пломбир, были выпиты бургундское, красное французское и отдающая гнилой пробкой мадера, на тарелках застыл соус, и были досказаны уже официальные речи, перещупаны и выворочены городские темы, высмеяны уездные женщины и даже израсходовано все уездное восхищение перед культурностью, гуманностью и государственной смет-

кою его превосходительства. Все чаще и чаще воцарялось то напряженное неясное молчание, которое столь обычно в минуты, когда уже сладко гудят виски, но сознание через силу грозит пальцем: будь осторожней, не распустись, не скажи лишнего, не потеряй уважения к достойному гостю! В эти молчаливые промежутки был ясно слышен тенор Душеньки, по-хмельному старательный и четкий. Душенька чувствовал себя отлично и был в одном из тех безмятежных настроений, которые называются детскими. Было отрадно знать, что вот всех их глушит чертополох, уездная докука, что все они изо дня в день видят одни и те же палисадники, одни и те же карнизы домов, одни и те же лица, а он через дня два купит себе в кассе желтенький билетик и поедет, куда ему вздумается.

Чорт возьми, приятно выпить с порядочными людьми, — будто вырастают за спиной крылья, и паришь по-орлиному над кручами, над площадями, над торжищами, и на все наплевать, и каждому рад, и подмывает возопить гласом восторженным: ей, братие, друг друга обымем, и да расточатся обиды, и да исчезнет вражда! Ах, танцует тогда пол под ногами, шатается, катким, и этак, и так, и безмятежно виснет в воздухе! Посмотришь вокруг: каждый человек голенький, с расстегнутой душой, да и ты сам порастегнулся, поослобонился малость, и из души твоей брызжет благодать неизреченная в разверстые собутыльничьи души, и из их разверстых душ в твою,

разверстую, льется благодать неизреченная. Ф-фух! До сверх-возможности легко говорил Душенька, не упомнив ничего напиятного и неся лишь пьяный покой в душе, угарный покой, когда сами собой целуются губы, а столы и стулья так и шарахаются под ноги, а в глазах верчение, подобное карусельному, а уж чтоб в дверь попасть, так подумать надо!

Он говорил:

— Я люблю людей не потому, что они добры, но потому, что могут быть добрыми, если я сам буду добр. В работе я держусь тех же принципов. Я ценю чиновников не потому, что они ценны, но потому, что могут быть ценными, если я сам буду ценен. Я занимаюсь самоанализом и самоусовершенствованием. На основе доверия и взаимного уважения я строю мою работу — и, слава богу, жизнь не отвадила меня от любви к людям. Я обязан этим моему батюшке, что? У меня есть такая привычка спрашивать иногда: что? Батюшка мой был оригинал и, может быть, даже коснодум. Будучи в гимназии, я мало занимался науками, и перед испытаниями батюшка мой, призвав к себе, сказал мне: «Ты пентюх, перепентюх, выпентюх и тюх, я тебе доверяю». Он любил так меня звать: пентюх, перепентюх, выпентюх и тюх. И я должен был выдержать экзамен, что? Вот что значит — пентюх, перепентюх, выпентюх и тюх! Что?

Подчиненные жиденько засмеялись, а Волосатов, оставив стакан с белым, в котором он купал свою

верхнюю бритую губу, вдруг посмотрел на Душеньку с насмешкой, которую тот заметил, хотя и был пьян.

— Кажется, вы, милостивый государь, со мною не сходитесь во мнении?

— Очень возможно, — сухо ответил Волосатов.

— Вы, кажется, против доверия и гуманности?

— Возможно.

— Э, нет, вы не увиливайте, вы отвечайте прямо: вы против гуманности и доверия?

Веки Волосатова поднялись совсем и открыли темные твердые зрачки. В наступившем молчании он сказал, как отрезал:

— Да, против.

— Но что же в таком случае важно? — спросил Душенька почти испуганно, ощутив давешнее беспокойство и теряя чувство блаженной довольной радости. — Как же тогда? Что же тогда делать? Отвечайте мне, прошу вас, не молчите же!

— Я на вопрос отвечу вопросом. Приходилось ли вам в юношестве, когда на весь мир будто бы накинут розовый газ, приходилось ли вам попадать в жалкую и беспощадно-бедную комнату падшей женщины? Не охватывал ли вас иногда романтический порыв, и не говорили ли вы этой женщине, после любовной церемонии, о путях честных и открытых, и не звали ли вы ее из темницы порока в храм добродетели и чистоты? Полагаю, что случалось с вами это, ваше превосходительство. А когда, после разговора

о чистом и беспорочном, вы покидали блудницу, она брала у вас деньги и совала себе в чулок. Но не доводилось ли вам, ваше превосходительство, в летах уже зрелых, случайно, под пьяную руку, снова заглянуть в комнату блудницы? Жизнь съела уже весь романтизм и общипала цветочки благих желаний. Вы не говорили уже блуднице о прямой дороге, но просто платили ей, и она так же совала ваши деньги за чулок. Все оплачивается деньгами: и прекрасный порыв, и грязное служение природе.

— Но вы же циник! — вскричал Душенька и обвел глазами всех присутствующих, ища поддержки. — Стало быть, добро — вздор?

— Вздор-с. Нет ни добра, ни зла, есть умение жить. Жить же умеет лишь тот, кто примет за правило глядеть на каждого, как на врага.

— Но... позвольте... Ну, а если, скажем... вот взять для примера... Ну, а я вам тоже враг?

Волосатов закрыл глаза.

— Враг, — сказал он коротко.

— И, стало быть, вы... вы хотели бы меня... скажем, духовно, духовно уничтожить?

Потные руки Душеньки дрожали, он уперся в ребро стола и этак снизу, будто прячась за бутылки, глядел на Волосатова без гнева, без возмущения, с одной беспомощной тревогой. Он ждал, что вот сейчас поднимутся его веки, твердые глаза прямо взглянут на него, и ему было неловко от этих глаз, которые сейчас взглянут. И точно, Волосатов поднял веки

и вдруг улыбнулся; Душенька смешался — так нежданна и странна была улыбка Волосатова. Волосатов взял бутылку, поглядел ее на свет и рукою, дрожащей, быть может, от волнения, долил бокал Душеньки.

— Не извольте принимать моих слов за правду, — сказал он вкрадчиво, слегка прыгающим голосом и снова улыбнулся. — Я... большой шутник, в особенности, если слегка под-шефе. Свойство моей натуры-с. За десять лет моей жизни в этом степном углу меня окрестили здесь вольтерьянцем, отрицателем всего-с. А со мною это просто от одиночества.

— Так вы одиноки? — спросил Душенька, радуясь тому, что сказал Волосатов.

— Я вдовец и бездетный. Одиночество мое, ваше превосходительство, пронзительно.

— А раньше кем вы были? До этого города?

— Человеком, ваше превосходительство, — ответил Волосатов, смыкая веки.

И снова стал неприятен, жесток и сух.

В саду, после молчания, заревел оркестр, гудя, дребезжа тарелками и бухая турецким барабаном; затрещали аплодисменты; из кустов на свет вышел гимназист с яркой пряжкой на ремне, держа под руку девицу в светлом, оба щурились, как зайцы, потом повернулись и пошли к сцене, ступая свободно, а оба были смущены и — видит бог — покраснели до ушей, да, на счастье, не видно.

V

Сидеть у окна, под клеткой, в которой некогда жил чиж, и писать «Записки уездного вольнодумца», а на подоконнике пусть стоит стакан с чаем, и чтобы непременно плавали в нем чаинки на счастье — лучшего для себя, казалось бы, и не желал Волосатов. Жил он в собственном своем домике, похожем на жилище кудесника; все в нем было необычно и пропитано уездной экзотикой. Начать с того, что вы входите со стороны палисадника, с парадного крыльца. Висит звонок с прутом в виде змеи и с ручкою в виде такого предмета, который, ежели смотреть чистыми глазами, напоминает морковь, а ежели грязными, то нивесть что напоминает он. Вы дергаете за ручку, и тотчас же откликается вам звонок, похожий на то, как если бы кто-нибудь, зажав нос рукой, произнес слово «ижица». Над звонком этим много потрудился Волосатов, обматывая его и тонкой проволокой, и шелковой нитью, привешивая и прямо, и криво, и языком вверх, и языком вниз, и добился таки, старый чудачина: стал у него звонок выговаривать слово «ижица».

Далее вы вступаете в коридорчик, где по стенам висят чучела сов, а головы у них человечьи: одна схожа с исправничьей, другая отдаленно намекает на голову предводителя дворян, третья напоминает жеманную головку Варвары Ильинишны, той что черного сына родила — не ходи тяжелая в панoптикум, не гляди на восковых арапов. Но дальше, дальше

идете вы, минуете прихожую, где если и есть что примечательное, то не видно за темнотой; входите в горницу и тут выражаете потрясение ваше, как и чем умеете — говорите ли по-столичному: «Какая изощренность!» — восклицаете ли по-уездному: «Фу ты, пропасть!» — или трете в обалдении лоб, как это делает протопоп здешний, о. Варсонофий. Подлинно есть чему подивиться. Справа, как войти, приткнут столик красного кедра, а на нем картонная модель Троице-Сергиевской лавры со всеми храмами, с монастырской гостиницей, с покоями монашьими, просвирнею, трапезою и со стеною, некогда поляков видавшею. Даже тропки в траве там выписаны и сиделочки под деревьями поставлены, где купчихи, дородные телом, переводят дух, вышедши из храма на время проскомидии, и пруд, где плавают лебеди, и домик в саду, где монахи выводят кроликов. Посреди двора стоит восковая фигурка пузатого монаха, и пришпилена к его пузу записочка со словами: «Народа обманщик есмь». На колокольне, под колоколами, другая фигурка, и другая записочка у нее на спине: «Звоню, дураков называю», — и многие еще в этом роде. За моделью — канделябры, старинные, темной бронзы, тронутой зеленью, за канделябрами турецкий барабан с пожелтевшею кожею; и канделябрам и барабану есть своя история. Дальше — гладкий струганый стол, и на нем оловянные солдатики все в точной исторической форме, расставленные с тем, чтобы образовать план битвы при

Аустерлице; на тонком жгуте качается красный диск — солнце Аустерлица.

Дальше идете вы, и вот иным духом веет на вас: к стене привешен снаряд, комбинация из металлического шара, листа кровельной жести и деревянных планок — летательный аппарат собственного измышления Волосатова, никогда не летавший, но, почем знать, быть может, и имеющий некоторые достоинства. Желтая пыль покрыла все эти предметы, собранные здесь без всякого плана и повода — вехи дней и мыслей странного и чопорного человека, всю жизнь проскакавшего без уздечки и привалившегося к склону дней своих у того самого места, от которого принялся скакать.

— Все, собранное здесь, суть символы, — говаривал Волосатов, — все знаменует жизнь, ибо жизнь есть сборище уродств и нелепостей, которые властвуют над людьми, и только воля, свободная от предрассудка религии и предрассудка так называемого добра, проложит меж них независимую дорогу. В свое глупое время я думал быть священником, военным, инженером-инструктором и святым отцом. Но я понял, что жизнь — звериная яма, и люди — звери в ней. И я понял, что я зверь, и что звериная сущность — самая главная моя сущность. Я плюю на чувство жалости, человеколюбия, сострадания, и как иные глушат в себе звериные инстинкты, так я глушу в себе духовные инстинкты, ибо от человека до бога дальше, нежели от человека до зверя, нет моментов

в жизни, когда человек бывает богом, и часты моменты, когда он бывает зверем. Скажите людям: можно, и будут они звери на свободе; скажите им: нельзя, и будут дрессированные звери. Но всегда и во всем будут зверьми, так как звериное — основная сущность их.

Волосатов встает рано, с солнцем, сначала нюхает табак, потом надевает крахмальный воротничек и пиджачную пару, глядя, чтоб нигде не было ни пылинки, зашнуровывает башмаки и бодрым шагом выходит на двор. Здесь он долго щурится на солнце и думает о чем-то, недобро покусывая губы, и тогда яснее видать, что у него острый нос, острый подбородок и глубоко впавшие щеки, так что издали они кажутся пятнами, седые брови его сходятся на переносице, вид у него всегда, независимо от расположения духа, желчный и надменный. Во всем его хозяйстве нет ни одной живой твари, ни одной домашней птицы, и даже галочьи гнезда Волосатов приказывает сшибать с ветел палками. Он скорее угрюм, нежели общителен. Служит ему парень лет под тридцать, рябой и сумрачный, и служит молча.

«Слава богу, — подумал Душенька, проснувшись поутру в воскресный день, — нынче последний день в этой берлоге, в обществе человека, несомненно тронутого престранной мечтой». Он подумал о том, как завтра сядет в поезд, положит чемодан в сетку, потом выйдет на площадку и с площадки скажет чиновникам несколько прочувствованных и настави-

тельных слов, затем поднимет шляпу, здесь засвищет кондуктор, раздует пары локомотив, и поплывут окна вокзала, сигнальные столбы, будки, огороды города, заросшего и полоненного чертополохом. От таких мыслей он пришел в хорошее расположение духа и к чаю вышел настроенным на шутливый разговор.

Пузатый самовар с деревянными ручками пел о русском уюте и русских, хорошо протопленных комнатах, пар вился из конфорки потной змейкой и расходился клубами под потолком. Волосатов долил в чайник кипятку, молча пригласил сесть и сдернул с сухарницы, масленки и тарелок кисею.

— Спали?

— Отлично. У вас тишина, как в монастыре, дорогой, и без колоколов.

— Бегу жизни.

— К чему?

Волосатов не ответил, потом сказал:

— Густой чертополох, поработивший наш город, подползает и ко мне, неукротимый и не признающий препятствий. Он ползет ко мне с улиц, с пустырей и из степи, проникает сквозь забор, и ни коса, ни топор, ни колун ему не страшны. В бессонницу, которая посещает меня особливо в лунные ночи, я подхожу к окну и в зыбком свете, серебрящем землю и воздух, вижу его колючие головки, его шершавый лист, его стерегущую силу. Ежели бы не мои годы и не мой скептический ум, мне стало бы страшно, ваше превосходительство. И ежели бы не моя

нелюбовь к романтическим сравнениям, я сказал бы: глядите, как злое начало порабощает землю и жизнь.

Душеньке взбрело в голову улыбнуться, а улыбаться было нечему. Волосатов говорил без едкости, без насмешки, и в углах его тонких губ лежало что-то наболевшее, лежала грусть.

Разбалтывая серебряной ложечкой, жегшей ему пальцы, сахар в стакане, Душенька сказал тоже без веселости:

— Когда я приеду в Петербург, я буду вспоминать о вас с некоторым беспокойством. Я не понимаю вас, в вас есть что-то тяжелое.

Ему стало грустно.

— Обо мне, ваше превосходительство, распространяют гнусные слухи. Надо мной висит клевета. Вы верите?

Волосатов поглядел на Душеньку в упор.

— Чему?

— Клевете-с.

— Я в вашем городе человек свежий, помилуйте, что это такое вы говорите, голубушка.

«О, ты бестия, у тебя за душой что-то есть». — подумал Душенька и испугался.

— Полагаете ли вы, выше превосходительство что я не знаю о вашем разговоре с тем заезжим актером из кафешантана? Я похитил его сына! Скажет же, отмочит, убогий, такую вздорность! Что я, может статься, надругался над ним? Удавил его в подвале, чтоб следы скрыть?

Он хотел засмеяться и дернулся лицом, и посерел весь.

— В под-вале?

И засмеялся. Тут слова его полились потоком, громкие, пересыпанные хихиканьем, и снова, как давеча в присутствии, прыгнула мысль, закружилась, завертелась, показалась на миг и спряталась снова; он высмеивал уездные сплетни, длинные языки, протопопа Варсонофия и свое угрюмое одиночество, и уездную беспроглядную трясину, что-то хотел сказать и чего-то не договаривал; заюлила, затрепала хвостом скользкая мысль его, похожая на бабу непотребную, то вскидывающую юбку выше колен, то подбирающую ноги, чтобы не видели. «Э, да ты...» — подумал Душенька в тоске и не пытался уже ни слушать, ни прерывать неудержимого потока его злых насмешливых слов.

— Все приятны, все благочестивы, все к попу лезут под епитрахиль великим постом, и поп их мажет миром; и приюты они строят, и арестантам классиков читают, и слова белоснежные произносят. А все звери-с. Поп идет, крест на брюхе гориг, голос мягкий и елейный, а под рясой, как и у всех, тело бани просит. Грязнотца-то, на телесах укусы блошиные, прыщи от нечистоплотности, — вот это, ваше превосходительство, самая сущая сущность и есть. Ваше превосходительство!

— А?

— Не верите?

— Ваш уклон мыслей...

— Какой уклон-с, к чему уклон-с! Не верите? Иносказательно говоря, и вы зверь под звездой вашей генеральской, и я зверь под человеческим обликом своим. По теории Дарвина мы от обезьяны произошли, по моей теории мы к обезьяне и вернемся. А ежели вернемся, так к чему же канитель тянуть? Оттягивать не вижу смысла. В шалаш! В пещеры! В леса! Этим и кончим-с. Я тут, ваше превосходительство, выкладки делал, исторически доказывал, что по ступеням пройдем все века в обратном порядке и докатимся до каменного и дальше даже каменного-с. Книгу такую пишу: «Возвращение к природе», возрождение сущности, звериного начала. А что вы думаете, ваше превосходительство, если взять, ради примера, у вас в Петербурге самого ученого профессора или самого изысканнейшего графа, что ли, из тех, что шелковые сорочки носят, да посадить в темном чулане на цепь, да продержать в таком виде год. Одичает? Через год не одичает, так через три одичает, через три нет, так через пять, через десять лет одичает уже вне сомнения!

— Через десять, пожалуй, одичает, — согласился Душенька, стараясь не глядеть в возбужденное лицо Волосатова.

— А, ваше превосходительство, — вскричал Волосатов, — а ежели одичает, то при чем же тут душа, искра божия, «человеческое, только человеческое»? Все выдумки, от лукавого, книжное фанфаронство.

Культура! Цивилизация! А я дуну — и нет их, ни культуры вашей, ни цивилизации. Потому что, ваше превосходительство, уж ежели друг другу шеи свертывать, так руками, руками — оно как будто чище, благородней будет, ближе к природе-с.

— Странный у вас уклон.

— Да, ваше превосходительство!

— Странный.

«Странный, странный», — повторил он, все не поднимая глаз и глядя на разводы цветной, голубое по суровому полю, скатерти. Чай в стаканах простыл, пена от сахара собралась вокруг ложечек. Глядя из-под полуприкрытых коричневых век, Волосатов продолжительно засмеялся и опять заговорил, прячась, не показывая всей мысли, и опять Душенька не мог его слушать; это походило на игру на нервах, это было невыносимо, и, собравшись с духом, улучив момент, когда Варвара Ильинишна, о которой сейчас повествовал Волосатов, дошла наконец до минуты, когда ей уже пора было родить черного младенца, Душенька приподнялся, не понимая, к чему тут Варвара Ильинишна и к чему ее черный младенец, но сознавая, что дальше не вынесет такого разговора.

— Благодарствуйте, — сказал он быстро, чтобы Волосатов не успел его перебить, — сегодня такой душный день, стучит в висках. Я имею намерение привести в порядок чемодан мой, завтра ехать. Благодарствуйте.

Он прошел в свою комнату, где все было чистенько, и подоконник недавно крашен, и на стене висело выцветшее посредине зеркало, лег на неубранную еще постель и понял, что настроение испорчено. Он закрыл глаза. В комнате было много солнца, под закрытыми веками темнота была желто-красная. Пролежав так с полчаса, Душенька встал, вынул из чемодана прибор для бритья, попробовал на ноготь бритву и тут нечаянно глянул в окно. За палисадником медленно прошла женщина. Она показалась ему знакомой. Это была мадемуазель Мурильо.

VI

Мадемуазель Мурильо, глядя себе под ноги, медленно прошла мимо окон, потом повернулась и тем же неторопливым шагом прошла назад; минуты через две она показалась снова. Она была одета по-летнему и легко и просто, так, как одеваются девушки в провинции из семей среднего достатка: сатинетовая блузка, слегка обнажающая шею, рукава со сквозной прошивкой, серая юбка и фильдекосовые, уродующие ногу чулки. Душенька высунулся в окно и наблюдал за ней, уже готовый ее окликнуть, но в эту минуту по палисаднику прошел Волосатов, уже сменивший халат на безупречную летнюю пиджачную пару, подошел к палисаднику и окликнул мадемуазель Мурильо. Девушка вскинула на него большие свои выпуклые глаза и остановилась. Волосатов обло-

котился на изгородку, откинул ногу в лиловом носке, пиджак его, сморщившись, поднялся и полез на затылок.

— Послушайте, вам что? — спросил Волосатов своим громким и скрипучим голосом.

Мадемуазель Мурильо стояла, потупившись.

— Я обращаюсь к вам, именно к вам, мадемуазель, но не к этому дереву, не к этому забору и не к этому индюку, гуляющему там, в лопухах. Ну-с? Вы прошли под моими окнами ровно четыре раза. Вы обронили что-нибудь? Или заблудились в лабиринтах нашего широкого города, напоминающего Лондон? Или — смею ли думать о таком счастьи! — питаете ко мне влечение, род недуга?

Волосатов переступил с ноги на ногу, поднял плечи и с силою потряс ветхую изгородь, и по его побагровевшему затылку видно было, что он налился раздражением. Мадемуазель Мурильо медленно подняла глаза. Попрежнему лицо ее было бесстрастно, каменно, и выпуклые глаза не выражали ничего: точно она дремала, идя, крепкой дремой, от которой ничто не могло ее разбудить.

— Подойдите же, — резко прокричал Волосатов, — не будем же мы перекликаться через всю улицу!

Мадемуазель Мурильо подумала и потом медленно приблизилась к Волосатову, заступая одной ногой за другую именно так, как это делают девушки, и в то время как она подходила, она напомнила Душеньке нашалившую девочку, которую подзывает,

маня строгим пальцем, мать. Подойдя на расстояние двух шагов, она снова подняла глаза и теперь уже не опускала их, глядя прямым и тяжелым взглядом.

Волосатов вложил руки в карманы, покачнулся на каблуках и с виду спокойно сказал:

— Поведение ваше и вашего отца странно. Я ударяю на это слово: странно. Не будем играть в прятки. Чего вы хотите от меня?

— Мы хотим знать, где находится Люлю, — сказала мадемуазель Мурильо на совершенно чистом русском языке, отчетливо выговаривая слова.

— Спросите вот этого водовоза, который заснул на бочке своей, — если кто-нибудь из нас знает о нем, то водовоз знает больше. Оставьте это, цвет моей души. Кто я такой? Извращенный человек? Пожиратель мальчиков? Почему бы вам не обратиться к супруге городского головы Перепелкина, которую три года назад весьма сильно томила любовь к вашему брату, весьма сильно и, смею думать, не впустую.

— Вы можете смеяться над Люлю, кто вам запретит, — спокойно сказала мадемуазель Мурильо.

— О, мой бог! В чем вы обвиняете меня? В том, что три года назад я позволил себе выразить восторг острому уму ребенка при помощи коробки конфет?

— Люлю ушел к вам и не вернулся.

— Послушайте, сударыня, мне крайне досадно терять время на эти бесплодные и комические раз-

говоры. Я живу в городе, где если найдется пять сотен домов, то это уже счастье; у нас не Петербург, чтобы можно было жить двойной жизнью, у нас люди не затериваются, как иголки. Никто — слышите? — кроме вас не может утверждать, что Люлю входил ко мне на порог. Смешно говорить! Я дарил ему конфеты, все наши городские дамы дарили ему конфеты, кто же не дарит конфет мальчику из цирка? Мальчишка мог сбежать попросту в разбойничью шайку, в Мексику, в Америку, к индейцам — он же бредил индейцами.

— Откуда вам известно, что он бредил индейцами?

— Оттуда же, вероятно, откуда это знает весь город. Но что это — допрос? Вы играете моим терпением, девушка!

— Я и мой отец добьемся правды. Мы не уедем отсюда, пока не найдем Люлю.

— Через три-то года! Что вы делали до сих пор, любвеобильные родственнички?

— До сих пор мы были бессильны, господин Волосатов, — сказала девушка строго, и в первый раз как будто с осмысленной печалью взглянули ее глаза. — Вы это знаете хорошо. Теперь вам труднее защищаться, у нас есть оружие против вас.

— Какое? — спросил Волосатов насмешливо, откинулся назад и снова заложил руки в карманы.

Душеньке не видать было его лица, но все: собравшаяся в складки шея, локти, прижатые к ребрам,

приподнятые плечи, все выражало уничтожающую насмешку.

Мадемуазель Мурильо молчала.

— Какое? — повторил Волосатов так же отрывисто, но уже менее уверенно, — ничего не мог прочесть в ее тяжелых выпуклых глазах.

Мадемуазель Мурильо молчала.

Волосатов еще раз повторил:

— Какое?

И снова не было ответа. Он воровски оглянулся, бросил взгляд вдоль улицы, медный загорелый лоб его стал жирен, и веки совсем, до щелок, захлопнули глаза; привстав на носки, Волосатов перегнулся через деревянные пики изгороди и стал шептать нечто мадемуазель Мурильо на ухо, чего Душенька, в смятеньи высунувши голову из окна, не расслышал. Но тотчас же увидел он, как мадемуазель Мурильо отшатнулась от Волосатова, поглядела на него через плечо и, низко нагнув голову, пошла прочь.

— Сколько? — закричал Волосатов ей вслед.

Она шла, не оглядываясь, вдоль улицы, заступая ногой за ногу, и скоро темные кусты бузины, растущие о бок, скрыли ее из глаз. Когда Волосатов обернулся, лицо его было неузнаваемо: четкие морщины покрыли его сплошь, нос казалось заостренным, и жесткое гнусное выражение застыло на лице; согнувшись, он побежал к дому, он казался теперь стариком, развалиной, человеком, который завтра шагнет в могилу. Душенька не знал, что делать. «Каков

выверт, что? — подумал он, вспотев, и дыхание у него перехватило. Но, не успев собрать разбредшихся, расскакавшихся в разные стороны мыслей, он снова увидел в окне Волосатова, на котором была теперь шляпа, в руках привычная трость; он бегом побежал до калитки, порывисто распахнул ее и, забыв притворить, опрометью кинулся по улице. И так же, как за минуту перед тем мадемуазель Мурильо, куст бузины скрыл его. «Вот веречумбия», — растерянно сказал Душенька, подошле к рукомойнику и, нагнув голову, смочил плешь. Дело было скверно.

Дело было скверно — это одно понял Душенька из всего разговора, который невольно подслушал. Вытирая мокрые волосы краем полотенца и не замечая того, что делает, он думал о том, что прежде всего надо успокоиться, успокоиться прежде всего, сопоставить отдельные факты, слышанные им слова, все, что подметил, подслушал или сообразил, и тогда ясно станет злодеяние, чудовищно-невероятное, которое было совершено в этом доме. Мысли его были растеряны.

— Ба! — вскричал он, ударяя себя по лбу, — злодеяние, что? Какое злодеяние? Кем содеянное? Чем доказанное? Вздор, чепуха, уездный навет!

Он растерялся окончательно, в сердцах швырнул полотенце и кинулся в кресло, отдуваясь.

— Но, но, — говорил он себе тотчас же, — но эти намеки, эти странности, этот разговор у палисадника, наконец... Фу ты, пропасть, довелось же влезть в

такую историю!.. Убиение отрока с туманными целями. Покатится история по судам, по газетам, по всей матушке России из конца в конец, от заставы к заставе, втянут в суд свидетелем, вертлявый репортер с утра будет висеть на телефоне, а там на дверной щеколде, а там на шее, будет тянуть за язык да с языка все в тетрадочку списывать. О, не уцелеть репутации: соплетут, свяжут, сопоставят, наговорят такое, чего и не было, что и во сне не мерещилось никогда... Но что же было? Ничего не было. Ничего не знаю. Пропал какой-то мальчик, а может быть и не пропал, а может и мальчишки не было никакого. Шантаж. Но словно бы и не шантаж... Ах, колокольчики-бубенчики мои!

VII

Тоска сверлила душу тонкой, с комариный нос, иголочкой, а то уже и не иголочка — буравчик, и не буравчик уже, а пилочка: зз-ыть, зз-ыть — пилила, пилила, просунула лапу да как хватит сердце в горсть!

Душенька схватился с кресла, постоял и, повторяя, как заводной: «Чепуха-с, чепуха-с», повторяя это даже как бы с веселостью, с этакой безмятежной игривостью, знал уже про себя, что если сейчас не решится, не заберет себя в руки, то пропадет здесь, как мальчишка, оступится и завязнет по самый пояс. С подзеркальника он взял флакончик, отвернул пшечку и понюхал. «Одеколон, сирень», — подумал

он явно и тут же, в эту минуту подумал скрыто: «Нынче же еду!» Вслед затем он взял тюбик с пастой, тоже отвернул шишечку и надавил, — вылезла розовая кишка, пахнула мятой. «Не подсыхает, держится», — подумал он явно и тут же скрытно: «Но как уедешь тайком? Заподозрят еще, учуют такое, в чем и не грешил». Оторопь взяла Душеньку. Здесь искоса, крадучись, взглянул он в зеркало: он увидел в нем полного, свеже-выбритого человека с трусливо трясущимися губами, глядящего криво, придвинул лицо ближе и произнес:

— Боишься, ваше превосходительство? Скиксовал? Сдрефил? У, сбитень, у, квашня, у, старая гамаша... пентюх!

Он бродил потом по пустым молчаливым вечереющим комнатам, слушая, как густо и горласто отмеривает секунды маятник, и зная, что не уедет, не сбежит, и уж как порешит господь бог, так и будет: или погибнет, или выкрутится. Желтое, цвета лимонной корки, не обжигающее и не слепящее солнце глядело в окно, веселя тесемки скатерти и красный кедр стола, где стояла лавра; в его снопах реяли пылинки, как одуванчики обдутые; замычали где-то, бредя по дворам, буренушки на одноколке проскакал уездный почтальон.

Волосатов не возвращался.

Томясь, Душенька вышел во двор и здесь увидел, что под навесом сидит рябой парень, Волосатовский

дворник, и копает червей, разламывая комья сырой земли и ногтем выковыривая червей из нор.

— Ты чего? — спросил Душенька.

— Ничаво.

— Червей копаешь?

— Червей.

— Рыбу, что ли, ловить будешь?

— Рыбу.

Парень вытащил жирного влажного червя и сумрачно бросил его в жестянку.

— Налимы-то у вас тут ловятся?

— Налимов не ловится, — отвечал парень, не оборачиваясь.

— Плохо, любезный, что не ловится. Ну, а стерлядка-то, видно, ловится?

— Не ловится.

— Да ну! Что ж у вас тут, река или озеро?

— Запруда.

— Н-да,—сказал Душенька,—запруда, это не то. Вот если бы, скажем, река или озеро большое, а запруда — это не то.

Парень встал с колен, взял скрябку, налег животом на рукоять и давнул. Отвалился новый ком. Душенька поглядел, как ломает парень новый ком, подумал и спросил:

— А скажи-ка, любезный, твой барин как? Ничего?

— Ничаво.

— Все один больше? В одиночестве?

— Один.

— Да я тоже гляжу — все один и один. Ну, а не случалось с ним, чтоб он пил? Не тосковал ли он, не грустил ли? Что? Может быть, преследовали его какие-нибудь мысли? Не замечал?

— Не умечал.

«Э, с тобой много не столкуешь», — подумал Душенька и вяло побрел в комнаты.

Беспокойство его усилилось, нелепые предметы, нагороженные в комнате, приобрели некий зловещий смысл и вызвали размышления престранные. «Дух хозяина присутствует здесь незримо даже в его отсутствие», — подумал Душенька, и снова распиливала, разрывала его тоска, и снова он не находил себе места. В то же время внезапно любопытство заговорило в нем: он пристальнее приглядывался к обстановке, как будто теперь все приобрело новый, иной характер и могло дать ему ключ к разгадке. Крадучись, он обошел комнаты; все было на месте, все чисто, все чудаковато. У спальни Волосатова Душенька остановился — сюда ему еще не приходилось заходить. Комната была маленькая, темная, с узкой и строгой постелью без перины, тканьевое одеяло было застлано тщательно, подушка без морщин, на стенах ни одного портрета, ни одной картины.

У окна, слегка вбок, стояла конторка с торчащим в замке ключем.

«Что за глупости!—подумал Душенька, отвечая на скрытое желание, толкнувшее его к конторке; предварительно прислушавшись, он на цыпочках подошел к ней, повернул ключ и приподнял крышку. Несколько тетрадей в черных клеенках лежало там. Душенька вынул и перелистал одну — все листы были исписаны тонким твердым и четким почерком, на обложке было выведено крупно: «Сочинение о возврате к природному состоянию. Начато мая 12-го, 189.. года». Руки Душеньки дрожали, и тетрадь дрожала в них. Он спрятал тетрадь за пиджак, хлопнул крышкой конторки и на цыпочках вышел прочь. Тревожное любопытство мучило его неодолимо, он хотел читать все кряду, но не смог, глаза его перескакивали через строчки, через страницы, и долго он не мог уразуметь смысла. «Каждодневные записи» — значилось в тетради.

«...Нынче, как и вчера, при появлении моем горько плачет, смотрит из-под бровей отменно со злостью и следит за рукой моей, как будто я пришел его бить. Я говорю себе: «терпение». Знаков одичания покуда никаких. Заметно, что очень рвется, под кольцом на руке тело красное и натруженое, и цепь ему, видимо, коротка. Не говорю с ним, чтоб отвык от речи. Плачет, утирая глаза кулаками. Я говорю себе: «терпение».

«...Так буйствовал, что я перепугался, не слышно ли на улице, обошел вокруг дома, вышел в палисадник, убедился, что глухо. Глаза его блестят. Ис-

подволь перевожу на пищу грубую и суровую, сегодня ел с жадностью. Так плакал, так молил выпустить, что нервы мои дрогнули. Нужно, чтоб он боялся меня: ежели его бить, то будет считать меня существом сильнейшим и высшим. Однажды глянул, как заяц, псами затравленный: и ненависть в его глазах, и страх, и просьба.

«...Волосы заметно отросли, ногти тоже. При входе моем иногда равнодушен, иногда бранится с отчаянием, иногда плачет горько, на пищу кидается с жадностью. Знаки одичания суть следующие: молчалив, повинуется каждому движению моему и взирает на меня со страхом.

«...Волосы покрывают бледный лоб его как войлочная шапка, сбиты, склочены и грязны, он скребет затылок свой с остервенением, иногда с плачем. Бегает по цепи, как дворовый пес. Лицо как бы покрыто корою, и на фоне этом его глаза блестят прежутко. Тело его столь же черно, сколь и лицо и в холода, особенно по ночам, он накрывается попоною.

«... Нынче, после недели молчания, встретил меня вопросом: «Где папа?» Что за досада после такой полусбывшейся надежды! Неужто же допустил недальновидность глупую? Для опыта надо было взять младенца, едва окрепшего и едва владеющего речью. Но по дальнейшем размышлении пришел к выводу, что ошибки не совершил: надобно доказать, что человеческий индивидуум, оторванный от цивилизации, развивается в сторону примитивного зверя с равным

успехом, как приобщенный к цивилизации развивается в сторону утонченного зверя. Результаты покажут в будущем, что примитивный зверь более приспособлен к существованию, нежели утонченный зверь, ибо первым руководят здоровые инстинкты, вторым же извращенные инстинкты.

«...Кричал под побоями столь пронзительно, что в сердце моем родилась «жалость». Жалость! Она рождена ослаблением борьбы за существование и посему вредна...»

Буквы расплылись в глазах Душеньки и судорога перехватила дыхание, он не в силах был читать дальше, он знал, что ему надо делать.

VIII

Тою же минутою прошел по городу слух, что Душенька, ревизор из Москвы, прибежал в участок и, глядя так, как будто из пылающего дома вырвался, бросив перед дежурным приставом тетрадь, прокричал задушенным голосом: «У Волосатова в подвале мальчик на цепи!» Мимо участка шел мирный обыватель, заслышал крик и остановился у окна; к нему примкнула тотчас же протоиереева дочь, ходившая на слободу торговать малину, а там уже собралась возле участка целая толпа, и зароились над нею, как незримые мухи, самые невероятные догадки и предположения. Пристав, пышный мужчина с щеками цвета моркови и с такими усами, как то и полагается приставу, показался на крылечке,

спугнув ногой крапчатую цесарку; за ним шел Душенька и все прижимал платок ко лбу; двое городовых замыкали это шествие. Пристав поднял палец, вильнул им, и толпа расступилась, образовав коридор, по которому они прошли.

— Столичный-то наведет порядок,-- сказали в толпе.

— Не зря шепчут по углам, дыму без огня не бывает.

У дома Волосатова, возле палисадника, пристав поставил одного из городовых, грозно глянул на толпу, подняв густую бровь, и, широко повернувшись, пошел вперед Душенька во всем повиновался ему слепо; дверь на крыльцо была приотворена, как он оставил ее давеча, и глядели со стен пыльные чучела с ликами человеческими, что-то знали, о чем-то перешептывались, чего-то не сказывали. Пристав подобрал живот, поправил ремень и тяжело вступил в коридор первым, левый глаз он прикрыл, а правым грозно косил на чучела. Пройдя к внутренней двери в комнаты, он постучал ребром пальца в скобку, поглядел на свои сапоги, потом на Душеньку и, надув щеки, рванул дверь, открывшуюся легко и бесшумно.

— Не вернулся еще, — слегка дрожащим голосом проговорил Душенька.

Комнаты глядели не страшно, почти весело.

— Я нашел эти записи вон в той комнате, — объяснил он приставу, а тот глядел на него хитро, будто был уверен, что нет на свете человека, который

его не дурачил бы. — Там спальня господина Волосатова. Из записей этих, которые я вам прочитал в выдержках, явствует весьма недвусмысленно, что отрок заточен в подвал уже три года с целью, насколько я понял из беглого просмотра записей, произвести опыт, может ли человек принять вид звероподобный. Налицо преступный акт, хотя бы и совершенный во имя науки.

Пристав, не слушая, ходил по горнице, кося сердитый глаз на чудашливую обстановку ее; городовой стоял в прихожей каменно.

— Есть ли в доме слуги, ваше превосходительство?

— Есть один, во дворе копает червей.

— Сходи, — кивнул головой пристав, и городовой на цыпочках вышел в дверь.

Пока он ходил разыскивал батрака во дворе, пристав внимательно оглядывал комнату, внушительно кашлял и ступал полной ступнею, как человек, привыкший быть хозяином всюду, куда он ни придет. Душенька волновался, взглядывал поверх занавесок на улицу, где за оградой палисадника росла толпа, и городовой начинал уже на нее прикрикивать. Наконец вернулся посланный полицейский, моргнул виновато и доложил, что никого во дворе нету, и в клети нету, и на кухне нету, а что червей, точно, копали под навесом, и валяется там скрябка.

— О, мерзавец, так он прикидывался!—воскликнул Душенька, вспомнив угрюмое лицо парня и его короткие ответы.—Сбежал, покуда я ходил за вами

— Не затеряется, ваше превосходительство, не иголка.

Подвал нетрудно было найти: в коридорчике перед кухней, под потертым ковриком была скрыта дверь с металлическим круглым кольцом. Городовой нашел в кухне фонарь и зажег огарок; солнце глядело в окна, комнату пересекали снопы лучей, полные мелких белых пылинок, и огонь в фонаре почти не был виден. Дверь оказалась тяжелой, поднимающейся туго, и пока городовой поднимал ее, лицо его напряглось, глаза стали белыми. Запахом гнилого картофеля, никогда непросыхающей земли пахнуло из темной дыры, в которую городовой опустил на вытянутой руке фонарь, и теперь видно было, что в нем горит свеча, бросая бледный, едва желтеющий свет на ступеньки лестницы, пропадающей внизу, во тьме. И было странно: здесь веселенькие обои, солнечные снопы будто обдули одуванчики у окон, и желтый пол, и медные скобки на дверях — а внизу могила.

— Давай фонарь,—проговорил пристав, взял фонарь и, приказав городовому стоять наверху, опустил ногу, поболтал ею и стал на первую ступеньку. Он спускался задом, держа фонарь сбоку, и лицо его было хмуро хмуростью настороженной. Скоро он опустился по пояс, скоро пропала в яме его чистенькая фуражка, и тогда Душенька стал спускаться вслед за ним.

Ноги его коснулись, наконец, земли, как бы смазанной клейстером, так что подошвы прилипали к ней. Фонарь бросал несмелый, слабо ощупывающий круг. Придерживаясь пальцами за плечо пристава, Душенька сделал несколько шагов и остановился; горестное отчаяние, родившееся от слабости, завладело им, и, закусив губы, раскрыв широко ничего не видящие глаза, он старался себя побороть.

Голос пристава слегка отрезвил его.

— Ничего ни видать,—сказал пристав.

Душенька не понял. «Не видать,—повторил он, — ах, да, не видать! Чего не видать?—Вот оно», — подумал он через минуту в трепете. Всю жизнь прошалил, проскользил, как танцор в бальных ботинках, а жизнь-то, вот она, кондовая, страшная... Круг от фонаря еще раз осветил ладно вычищенные сапоги господина пристава и перекинулся на стену, выложенную кирпичем, потом пополз влево, левей, левей— и внезапно стал. От крюка, ввинченного в стену, шла цепь, длинная, мертвая, ползла по стене... Душенька не помнил, закричал ли он, метнулся ли, закрыл ли глаза, все помутилось в голове его: он увидел лохматую голову, зубы, такие блестящие, что они казались пеной, и глаза, устремленные на него с лютым страхом. Цепь мертво звякнула.

— Закован, — сказал пристав издали, глухо.

Отчаянно-звонкий, пронзительный крик раздался здесь, в гнилой яме этой, ударил в стены и вы-

рвался через поднятую дверь туда, где играли солнечные снопы-одуванчики:

— Не надо! Не бей!

IX

Все проходит, дни проходят тоже, проходит тоже отчаяние первое, унимается, только слезы не просыхают никогда. Эти дни присмирел, затосковал, постарел Душенька, действительный статский советник: прежде все хи-хи да ха-ха, прежде все люди шельмы, плуты, распротобестии веселые, что ни барышня — то смазливенькая плутовка, что ни человек — то забавен, плут, во всем радость, рассеянность, тихое и плавное скольжение. Теперь все в ином свете видел Душенька: за ситцевыми занавесками плачут матери осиротевшие, брошенные любовницы, люди, людьми обойденные, люди, не снесшие бремени жизни. Все пройдет — но когда просохнут слезы?

Никогда они не просохнут.

Перед отъездом в Москву Душенька еще раз зашел в гостиницу, в номер к Мурильо. Здесь, как в первый раз, когда он заходил навестить их, на единственном окне была притворена половина ставни, а в окно упиралась стена соседнего флигеля, отчего в комнате был всегдашний вечер. В постели, протянув поверх одеяла руки, откинув бритую голову на подушку, лежал Люлю, и так же неподвижно сидела в его ногах мадемуазель Мурильо, сложив руки на одеяле и глядя на мальчика выпуклыми,

скрывающими что-то глазами, а сам Мурильо сутулой тенью беспокойно двигался вдоль стен. Мартышка, поскуливая, чесалась на комоде.

Душенька на цыпочках подошел к постели и взглянул на больного серьезно и опасливо, как глядят на трудно заболевших. Все эти дни Люлю жил как во сне, с трудом отвечал на вопросы и позволял делать с собою все, что хотят. Его вымыли, остригли, положили в постель, и местный доктор, самый лучший, просыпая на постель табачную труху со складок своей жилетки, часами стоял над ним, пытаясь догадаться, чем он болен.

— Лучше? — шопотом спросил Душенька.

Мадемуазель Мурильо подняла на него свое неподвижное лицо, печально красивое.

— Все смотрит, смотрит. Ничего не скажет.

— C'est horrible! — отозвался Мурильо из угла, ломая руки.

Лицо мальчика было черно, и только белел бритый череп, сжатые губы сухи, но глаза, большие, такие же выпуклые, как у сестры, влажны, будто полны непролившихся слез. Как будто облако висело над его лицом, а он старался увидеть сквозь него, пронзить его взглядом, старался — и не мог. Стоя подле него и наблюдая за ним, можно было подумать, что он не слышит ничего: он не поворачивал головы на скрип двери, на звук шагов, и только на вопросы сестры отвечал медленно, с трудом, односложно.

— Люлю,—звала его мадемуазель Мурильо, склоняя над ним свои красивые полные плечи, — Люлю, ты меня слышишь?

Он молчал, глядя мимо ее глаз пристально и упорно.

— Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Ты все думаешь?

— Думаю.

— Мальчик, о чем?

Слышен был лишь осторожный шорох шагов Мурильо, ходившего вдоль стен, как горбатый призрак, ломая пальцы — и больше ничего; и ничего нельзя было прочесть в глазах Люлю, таких же выпуклых, не выражающих ничего, как у сестры, таких же пристальных, а знающих и многое и больное.

— Думаю.

— Люлю, ты узнаешь меня?

Он смотрел на нее без удивления и без улыбки, ничего не было в глазах его: ни жалобы, ни радости.

— Да!

— Ты чего-нибудь хочешь?

— Нет.

— У тебя болит что-нибудь?

— Нет.

— C'est horrible!—шопотом говорил из своего угла Мурильо, прижимая костлявые пальцы к седым вискам, и голова его тряслась вместе с этими костлявыми пальцами.

— Ужасно! — сказал за ним Душенька, чувствуя острую, режущую, беспокойную жалость и к больному ребенку и к разбитому несчастьем старику. Слезы хлынули из его глаз, он не замечал этого. — Надо благодарить господа, что все всплыло наружу. Злодей понесет наказание, вы еще обретете счастье.

Было еще не поздно, колокол звонил к вечерне с дрязгом, треснутый, и со степи пахло еще раскаленной землей и купырями, когда Душенька вышел на улицу. Страдальчески он глядел на этот город, на эти простенькие домики, палисадники, кровельки, на флюгера петушками и на скворешни, обители птичьего счастья, которое выше счастья людей. Под заборами рос чертополох, вздымая вверх пыльные злые репьи, колючий и упорный, как злая сила, и люди шли и жили, не замечая его, не примечая того, что они во власти злой силы его. «Сегодня уеду,—думал Душенька,—ах, какой трагический случай, какой трагический случай, какой трагический случай, как он омрачил мою поездку!» Здесь, под солнцем, было легче, захотелось быть на людях, и когда на улице он увидел коломенковый пиджак следователя, то обрадовался несказанно и помахал следователю шляпой.

Следователь был не старый человек, в очках, задумчивый и строгий, ладони его всегда были влажны.

— Известно ли вам, ваше превосходительство, — спросил он печальным голосом, — что вы будете вызваны свидетелем на предстоящем процессе? Ваши

показания будут чрезвычайно важны. Волосатов прикидывается безумным, понадобится врачебная экспертиза, закрутится карусель.

— Ах, придется приехать, голубушка, так это неприятно. Ужасный, необыкновенный случай.

— Что ж? Разновидность зла, разлитого по миру, ничего необыкновенного.

Следователь в задумчивости погрыз ноготь, отгрыз и выплюнул.

— Отец не пойдет ни на какие соглашения, и правильно делает. В деле есть, как я докладывал вашему превосходительству, одна туманность: где пропадал Мурильо и что думал в течение этих трех лет? Впрочем, улик против него нет никаких.

— Ох, побойтесь, голубушка, бога!

— Бога я боюсь, а людей не боюсь, не доверяю. Я предполагал, что француз получил от Волосатова некоторую ссуду, да и теперь еще работаю в этом направлении. Следствие выяснит все обстоятельства.

— Ужасно, ужасно! — говорил Душенька.

Уездные философы утомили его, вселили в него растерянность, измучили, он был рад уехать, хотя даже самому себе этого не высказывал. В противность тому, как приехал, уезжал он гласно, и проводить его собралось много народу, в большинстве незнакомого, имя его носилось по городу, проникая не только в раскрытые окна, но даже и в закрытые. Не один женский глаз глядел на него с шаловливой игрой, не один раз слышал он громко про-

износимые слова: «Вот Душенька, в хорошем-то теле господин. Он душенька и есть». От присутствия говорил Петр Петрович Вата, от земства — незнакомый Душеньке старик, от городской думы — человек и лет неопределенных, и наружности неопределенной, мигом забывающийся. Стоя на площадке вагона, Душенька помахивал шляпой, и глядел на тесную толпу, на вокзальные фонари, и беспечально радовался жизни.

Затем поезд, радушный равно для всех, пускающий, подобно продажной женщине, на свои койки всех, кто имеет деньги, умчал его в черную сонную степь навстречу Москве, где-то далеко за многоверстными пространствами кипящей жизнью как живое сердце кипит живой горячей кровью. Отворив дверь купэ, он увидел даму, сидящую с книгой, и хотя видел, что здесь не занято, спросил с полупоклоном:

— Не правда ли, здесь не занято?

Она кивнула головой, улыбаясь, и улыбка и глаза у ней были милые; на большой станции они вместе пили кофе; ночью, укутывая ее пледом, Душенька поцеловал ее нежные, пахнущие фиалкой руки; искры летели за окнами, и они, звездные, любили жизнь — впрочем, какое нам дело до них?

КОНЕЦ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

I

У клети, на заборе, неподвижно сидел Жонька, похожий в сумерках на куст. Захар, выгибая колени, сошел с крыльца и подтянул на штанах бечевку, которая резала ему поясницу.

Он спросил:

— Чего сидишь?

— Тебя я штерегу. Попроштиться.

— Неча тебе с отцом прощаться. Неча тебе...

Он почувствовал, что горе закладывает ему грудь, как простуда и, радуясь тому, что темно, что не видно капель пота на его лбу, подошел к бочке и из жестяной бадейки стал пить воду, теплую и травянистую на вкус.

Только что в доме был прощальный разговор с женой, которая ушла от него к фабричному слесарю Савелию.

Жена приходила вместе с Савелием, рослым, молодым и гологубым парнем; Савелий скромно глядел

на блестящие свои голенища и говорил через каждое слово, глуховатым и странно болезненным баском: «мы сознательно, по человечеству». Жена воровато взглядывала на Захара, на стены, которые, видно, уже были ей чужие, на кровать под тканьевым голубым одеялом, которая, видно, уже не манила ее ни сном, ни любовью, ни домашним уютом.

Под лампой, на скатерти, ползло керосиновое пятно: лампа текла.

Захар внимательно выслушал то, что сказал Савелий, и то, что сказала жена, а сказала она всего четыре слова: «ну, пожалуйста, живи хорошенько». Ее вещи, и вещи Жоньки еще неделю назад отнес на квартиру Савелия сам Захар. Потом они дружно, все трое, поднялись и постояли, как, бывало, до революции люди стояли перед дальней дорогой. На пороге жена зацепилась юбкой о гвоздь. Пока она отцепляла юбку, Захар, чтобы не гореть от обиды, думал: «гвоздь-то еще давеча, еще зимой собирался вытянуть».

Потом жена и Савелий ушли.

— Не пей без передышки, — сказал Жонька с забора, — жаболеть можешь. Мамашка ушла?

— Ушла.

— И мне пора. Иль погодить? Он у ней строгий: у него чтобы кразу шадиться за штол.

— Ну, и ступай.

— Погоди-ит, не родной отец, — сказал Жонька беспечно и качнулся, и в сумерках было похоже, что

это качается на ветру безлистый куст. — А ты это что ж: похоже петухов кормить.

— Пора кормить. Ты ступай, Жонька, ступай: завтра случаем придешь, а сейчас ступай.

Захар положил бадейку у бочки и слушал, как Жонька турманом свалился в кусты, в крапиву, выбрался на дорогу и лениво побежал, шлепая голыми пятками по жирной, давно не битой дождем пыли. Над клетью стояло одинокое, холодное, похожее на гусиное перо, облако. За рядом кровельных, с острыми козырьками крыш, сияла окнами фабрика; над ней небо было ярко, как сарафан. Захар вошел в клеть и зажег фонарь, висевший на стене. Три петуха на жерди выпростали из-под крыльев клювы, и, косо на него глядя, стали просыпаться.

Захар оглядел любимцев с хозяйской любовью, которая сейчас, после разговора с женой, была надсадна и непроста: как только что Жонька на заборе, эти петухи напоминали ему о том, что он теперь один, что семья порушена и не хочется теперь, воротясь с фабрики, с умильцей похаживать по двору или по комнате, пощупывая стены, радуясь чистоте и ладности своего жилья. Петухов он холил пуще всего. Петухи у него были герои, бойцы, знаменитости; каждый раз к ним, после боя, приценивался Фома, хозяин чайной, и каждый раз набавлял цену. Из-за петухов и пошел в доме разлад.

Петухи, особенно больший, с кличкой Петр Великий, были у Захара, как говаривали любители боев,

птицами в положении: откормлены до глянца на перьях, великолепно, надменны и злы в драке. И, хотя с этих вот трех петухов, которых Захар завел после долгого перерыва, после революции, и пошел в доме разлад, они напоминали ему сердечную жизнь, жену, ее речи и ее свежесть: Захар острее всего любил жену по утрам, когда, после фабричного гудка, она сонным и непередаваемо теплым голосом будила его, расчесывая густые, черные, как зрачки ее глаз, волосы, и от умытых локтей ее пахло молодостью.

Когда во время отдержки Захар срезал петухам гребни и сережки, — петухи были погодками, — и дал им склевать их, ибо суеверно верил в то, что это придаст им злобности, — жена побледнела, сделалась словно бы старей лицом, ее замутило. Он посмеялся над ее бабьей деликатностью, и тогда вышел первый серьезный разговор, и после этого разговора дружная семья стала вянуть. И после этого разговора вышел другой разговор с предзавкома, рыжебородым Стамесовым, который срамил Захара его же работой, его же авторитетом передового мастера, срамил и все спрашивал, срываясь на хохот, променяет он, если будет случай, петухов на революцию, или спрячется от революции с петухами в клети.

Непонятно почему, Захар обиделся. Когда в стенгазете нарисовали его с петушиным клювом, со шпорами, с разноцветным, как цыганская шаль, хвостом, он побледнел, сухие его губы задрожали, и ребята испугались, не сделал бы он что-нибудь глупое.

Картинку редколлегия сняла.
И потом жена его сошлась с Савелием.

II

Захар спрятал петуха под пиджак, на животе, и задами, по лопухам прошел к чайной Фомы: он ходил к Фоме с заднего хода, через двор, где под ногами высхлипывал жидкий навоз. Из темного коридорчика он увидел треугольную спину Фомы в белой рубашке, Фома стоял у стойки и клинышком своей вялой бороды рассекал дымный и кислый воздух чайной: его голова непрестанно кивала, как у глухонемых нищих, стоящих на перекрестке.

— Псст, — сделал Захар и отошел в глубь коридорчика, чтобы его не видели из залы.

Фома обернулся, вытер фартуком липкие от пива губы и неожиданно легко для своего веса вприпрыжку выбежал в коридор. С виду он был совсем обыкновенный человек с умеренной растительностью на лице, но у него были замечательные поговорочки, которые он вычитывал из сатирических журнальчиков и выдумывал сам. Любимая у него была: «Снимай штаны».

— Запоздал, папаша,—сказал он укоризненно,— с полчаса, как ждут. Насмешки про тебя пошли, про твою, папаша, жену.

— Про жену я тебе, хозяин, слова не даю.

— Не я слова говорю, а публика. Я тебе, снимай

штаны, совет даю: бабья на свете, что мух, — одна с плеши улетит, две другие сядут. Кого принес?

— Петра Великого, — сказал Захар, поглаживая вздувшийся на животе пиджак.

— Аксенов за своего два червонца ставит.

— Проставится.

Они прошли мимо уборной, глазок которой был заклеен желтой просаленной бумагой, и в темных сенях, где пахло солодом, нащупали собранную из бракованного теса дверь.

Низкая комната, закленная газетами, была полна народу, который жался вокруг ширм — круглой арены, обнесенной деревянной загородкой. Еще не было душно, но уже чувствовалось, что воздух густеет. Красное сукно, все в черных разной величины и формах пятнах, обтягивало круг ширм, — над ним свисала с грязного потолка электрическая лампочка в шапке глубокого лохматого абажура, который бросал свет на середину круга.

Захара встретили шумно. Суя поджатой рукой в воздух, он натыкался на горячие ладони, и по силе их пожатия отличал доброжелателей от врагов. Боя еще не начинали, ждали его. Аксенов, сапожник с Бранного переулка, сухой и уже подвыпивший, улыбнулся ему краем рассеченной губы, поправил потный ус, закричал вздорно:

— Бери назад заклад, кочегарна хвороба, быть Петру Великому биту.

Присказки перед боем всегда были одни и те же. И, чтобы поддержать приличие, Захар, спросил:

— Это отчего же?

Он все еще полами пиджака прикрывал петуха, который сидел тихо и грел ему через рубашку живот.

Аксенов ответил:

— Хозяин в обиде, и птица не в положении. Хозяин плачет по хозяйке, птица по хозяине.

— Я тебя твоей бабой не корю. Выставляй, Аксенов, твою га́лку.

— Моя та галка, — закричал Аксенов в упоении, и было видно, что он счастлив, — моя та галка и во сне таких птиц бьет.

— Начинайте, — вмешался Фома, — а то мне, потеряй штаны, к стойке пора. Хотелось бы этого сраженья наблюдателем быть.

— Начинайте! — закричали зрители, — после боя разговор!

Сын Фомы, курносый придурковатый парень, открыл по обе стороны загородки дверцы.

Захар осторожно развел полы и, нагнувшись, поставил Петра Великого у края сукна, не выпуская петуха из рук. Под его ладонями скользили блестящие, огненного цвета, холеные перья, и близко от себя он видел тупые рубцы гребня, казавшиеся сейчас кровавыми. Петух сидел смирно, уставив завороженные, похожие на чернильные пятна, немигающие глаза в красное море сукна, разлитое перед ним. Мускулистое его тело не подавало признаков жизни.

И, держа его в руках, Захар почувствовал, как сладостная тревога, разгораясь, кольнула его пятки и легким холодком побежала вверх по ногам. Маленькие сухие уши его под войлоком слегка седеющих волос вспыхнули. Ему, как давеча Аксенову, захотелось смеяться и кричать подзуживающие слова и, как всегда в такие минуты, он поверил, что нет птицы крепче Петра Великого.

Косо из-под мохнатой брови, нависшей на глаз, он поглядел навстречу: против него, у противоположного края ширмы, сидел на корточках Аксенов и держал руками своего петуха, Бандита.

Бандит был молод — нынешний бой был в его жизни третьим. Он был мал ростом, серый, с непомерно длинными, похожими на сучья, шпорами и с желтым, как сурик, острым, слегка по орлиному загнутым клювом. Огромные ладони Аксенова почти сплошь покрывали его спину. В бою Захар Бандита не видел. И теперь, глядя на него, он уже уверил себя, что петух не опасен, не силен, молод, и эта уверенность тешила его.

— Качай! — взволнованным голосом выкрикнул сын Фомы.

За спиной Захара, в полном молчании, сопели люди. Захар мерными движениями стал раскачивать Петра Великого справа налево, его густо заросшая с пятнышком плеши, голова тоже качалась при этом

Петух встал на ноги.

И тогда Захар, отскочив, быстро, как мальчишка, закрыл дверцу ширм.

Петухи остались в кругу.

Они остались недвижны. Петр Великий поднял голову, маститую голову бойца с белыми наушниками, дернул ею; он не замечал Бандита. Бандит дернул плоской головой. Он не замечал Петра Великого. Они делали вид, что им нет никакого дела друг до друга. И вдруг над головой Петра Великого злобным веером встали перья.

Он побежал на Бандита волоча крылья по земле, которые издавали картонный звук. Бандит повернулся к нему. Одно перо у него было длиннее прочих: оно встало над его нежно-розовым, попорченным пожом, гребнем, как воинственный кивер кавалериста.

— Долби! — кричал Аксенов.

Петухи взвились в воздух, как бы склеясь клювами, и упали на сукно, распластав крылья. И теперь было видно, что Петр Великий вдвое больше Бандита и вдвое, вероятно, сильней. Они бились жестоко. Нежное перо взлетело в воздух и, медленно кружась, играя пестрой расцветкой в смиренном свете лампы, опустилось на сукно возле барьера, выбеленного известкой: это было перо Бандита.

— Долби! — кричал Аксенов.

Он кричал один среди общей тишины, и никто не остановил его. Его мелкие, с оттянутыми веками глаза налились кровью. Его нижняя губа, в детстве

расшибленная камнем, спряталась меж двух рядов мелких острых зубов.

Петухи дрались, свиваясь в пестрый, удивительно яркий, слепящий ворох. Было похоже, что ворох женских тряпок вскидывала вверх невидимая рука. Темя у Захара вспотело, ему захотелось пить. Фома глядел на бой свесив голову на плечо. Он был исполнен такого блаженства, что, казалось, от этого блаженства сейчас заснет. Из-под полусмежных век его выступила слеза, от красного пятна сукна казавшаяся рубином.

В этот момент Бандит ударил Петра Великого в глаз. Он ударил его с воздуха так, как бьет коршун и, теряя серые шашечные перья, крутым кругом, спотыкаясь о собственные шпоры, оглушенно пошел вкруг ширмы. Петр Великий упал. Из выбитого глаза его пошла черная кровь, пролив по сукну тонкую волнистую стежку.

— Не встанет, снимай штаны, — закричал Фома.

— Встанет, — закричал Захар чужим, чахоточным голосом и вдруг ощутил внутри себя пустоту, свой живот он ощутил пустой бочкой. В тесной комнатке как осы в стекло бились голоса. Петр Великий встанет. Петр Великий встал. Он встал еще более сильным: он получил меткий удар, но то был удар случайный. Бандит уронил свой серый ожерельник; перья легли на его лопатки трусливо и жалко. Он побежал. И, едва он побежал, Петр Великий сбил его с ног. Влезши на него, он дважды, в смертельной злобе, ударил его шпорой.

В общую залу, где каждый день сидели свои фабричные, Захар стеснялся входить, прозакладанные два червонца Аксенов заплатил ему все в том же кривом коридорчике, возле уборной. Захар деловито посмотрел бумажку на свет. С Аксенова соскочил хмель: ему было жалко двух червонцев, жалко своего пустого бахвальства, а пуще всего жалко Бандита, который, вытянув ноги, лежал сейчас на дворе на крылечке.

Худое лицо Аксенова пошло пятнами злобы, когда он сказал:

— Петр Великий? По меньшей мере курнозно. Ему подыхать пора, да и хозяину его тоже не гулять: от хозяина, как от кладбища, бабы бегут.

Захару стало невозможно обидно, так обидно, что он смолчал. Он прятал под пиджаком Петра Великого, который вел себя беспокойно. Он пошел к крыльцу, не попрощавшись ни с Аксеновым, ни с Фомой.

Аксенов закричал ему вслед:

— Бандита попомнишь, мамашку твою за ляшку. Сверну ему шею под ночной мрак, и отвечать не буду.

III

Страсть к петушиному бою Захар носил в крови. Деда он едва помнил: его длинную, до пупа, костяную бороду и громыхающий кашель, — но рассказы о нем, о его искусстве выхаживать боевых петухов мог по-

вторить наизусть, как школьные стихи. Дед служил в кучерах у помещика. Помещик, знаменитый на округу пьяница и срамник, устраивал бои в елизаветинской беседке над прудом, затянутым оранжево-палевым цветеньем. Он культувировал знаменитую породу петухов графа Орлова-Чесменского — злых и сильных птиц.

Был такой случай: пьяные гости из озорства бросили петуха в пруд. Петух был неповторимый: сивого цвета, со шпорами острыми как бритва, с несломимой болей к победе. Помещик, сидя на берегу, плакал. Дед Захара полез в пруд, и так как был, видимо, наравне со всеми в подпитии, то утонул на слезящихся глазах гостей.

После смерти деда в избу толкнулась нужда: закромы стали пусты, окна стали затыкать тряпицами. Вот так, по нужде, отец Захара попал в Москву, в Зарядье в ученики к портному, и сел на каток. Кличку ему дали: Чибрик. Полдня он дневалил: убирал грязь, колол дрова, бегал мастерам за пивом, растапливал жаровню для утюгов и обливался потом; полдня сидел на катке, с наперстком на среднем пальце, дергал заготовочные нитки.

И скоро вошел в славу. Хозяева переманивали его друг у друга, по воскресеньям возили к Мартемьянычу, по субботам в Камменовские бани: вместе с ними, летом, Чибрик схватывался с полка и, пунцовея раскаленным телом, бежал по деревянным мосткам к Москва-реке, прыгал в ее холодное лоно.

Но славен был Чибрик не только портняжным мастерством, — славен он был своими петухами: пошел в деда.

На Самотеке, в переулке, подавшемся в гору, стоял трактир с чистой и привлекательной, как женское лицо, вывеской. В том трактире, за хозяйской квартирой, была широкая клеть и в ней ширмы. На бои собиралось с полсотни матерых любителей. Закклады доходили до сотни рулей. Чибрик прославился тем, что во время боя посвистывал. Он посвистывал легонько, легкомысленно, словно бы в лад своих мыслям, а его петухи были грозой на всю Москву. Он и умер на Самотеке, в трактире: чистенькая вывеска сорвалась от ветра и ударила ему в темя, когда он выходил на улицу.

Лет за пять до смерти Чибрик перешел на фабрику и поселился в пригороде, на одной из улиц, где летом крутит пыль, а зимой сугробы доходят до карниза. Захар был единственным сыном в семье, а не избалован. С детства он был серьезен, даже хмур. После смерти отца он поселился в двух комнатах со старухой матерью: в этих комнатах ничего не было лишнего, но они были опрятные и светлые. Мать говорила, что Захару пора ожениться, он не то, чтобы не хотел, но как-то не случалось. Бывало, пойдет в поле с той, с другой девушкой, в праздник угостит ее лимонадом, расскажет о Пушкине, — девушка ждет тайного слова, а тайное слово у Захара не сказывалось.

Он не пил. Он ходил лишь на петушиные бои и ростил у себя породу петухов, оставшихся ему от отца.

В революцию Захар дрался против Анненкова, и анненковский боец, в погонах, украшенных скрещенными костями и черепом, проколол ему живот штыком. Захар вернулся домой поседевший. Уже говорила фабрика, и у станков стояли люди, оживавшие в работе. На пятом годе революции Захар похоронил мать, а на шестом женился. Жена работала в женотделе, собиралась в партию, морально охорашивалась: так девушка, перед свадьбой, охорашивает себя. Она была красивая, без суеты, без шумливости; когда пела песни, то голос у нее становился шелковым. Захар был членом фабкома. Товарищи любили его: в нем крепко, как здоровый зуб в десне, сидела справедливость.

Рос Жонька.

Будни идут обыденно: кажется, чем нынешний день отличен от вчерашнего? Но вот при фабрике уже раскинула полки, тяжелые от цветных книжных корешков, библиотека; вот уже в клубе кричит громкоговоритель и со стойки, смотришь, исчезли пивные бутылки; у станков, по рукам, кой-где ходят баптистские листки, и девчата из отсталых бегут в христомол, а там, смотришь фабричная чистенькая церковь оделась лесами: церковь ремонтируют под образцовый рабочий барак. На буднях человек мало заметен. Захар не кидался в глаза, а фабрика видела, что он идет впереди: и к тому, что выгнал алкоголь из клуба,

и к тому, что запечатана церковь — тоже приложил руку.

Жена любила слушать, когда он говорил на собраниях: еще больше она любила слушать его дома, когда слова его становились теплей, проще, словно бы скидывали чистенькие пиджачки и бегали в просторных рубахах. Она любила провести рукой по войлочной шапке его волос, упорных, как войлок. Она любила его как отца. Когда на фабрике заговорили о петухах, она сердилась, не поверила. Захар скрыл от нее, что ходит в трактир Фомы.

— Ты маленький, что ли? — спросила она, зайдя в клеть.

Острым ножичком Захар оттачивал Петру Великому шпоры. Фонарь освещал его розовеющую плешь.

Захар сказал смущенно:

— Пойди, пойди, где Жонька? Пойди к Жоньке.

Это случилось впервые, что он отвел глаза, застеснялся, бестолково рассердился. Жена любила его, как отца. Его слова она прятала в сердце, как в кошелек прячут монету, не проверяя их подлинности. Захар был старше ее на двенадцать лет. Та весна, когда у Захара завелись петухи, была ранняя. Савелий на конкурсе гармонистов получил третье отличие. Березы развернули клейкие, смазанные гуммиарабиком весны, счастливым бесстыдством пахнущие листочки. Скрывать от Захара, от Жоньки было нечестно и тяжело. Небо весною вливается в глаза и грудь голубым сияющим потоком.

IV

Бегали слухи, что жена с Савелием несчастлива, и он несчастлив с ней. Захар оглушал себя работой, и все же в сутках случались пустые часы, когда ни о чем ином нельзя было думать, как только о своем мужском несчастьи.

Ушла женщина. Быть может, полюбится новая? После гудка у ворот женщины сбивались толпой, солнце играло на их платочках, на улыбках, на красиво округлых плечах. Эти женщины несли бремя труда, бремя жизни — одна из них могла бы нести бремя и его любви. Он заходил за контрольную будку и, встав под ее навес, следил, как жена проходит мимо, не замечая его.

Она не переменилась. А люди говорили, что с Савелием она несчастлива.

По праздникам приходил Жонька. Савелий купил ему витой двухцветный кушачок: синим и красным — с кушака свисала мохнатая кисточка.

Жонька говорил:

— Вштавай. Штыд один. Шейчас обувной зашвистит.

Захар подтыкал под матрац сбитую, грязную простыню. На столе, на газете, валялся изгрызенный огурец, мухи ползли по нему. Захар, стесняясь, спрашивал про мать, как она.

— Ничего, — говорил Жонька, — кланяется. Играет на гармони — штрасть.

— Что?

— Он. У него ноты есть. У него в шундуке балалайка шпрятана. Та балалайка мне, я знаю.

Как-то вечером совсем неожиданно пришел Савелий. Он был в розовой рубашке, принаряженный, от его мягких лирических волос пахло помадой. Он поздоровался, протянув руку, вялую из приличия, сел на стул и ножки его оплел сапогами. Захар, затосковав, пошел ставить чайник.

— Не надо чайник, спасибо. Я пришел к тебе как к товарищу. Понимаешь, старик, неладно выходит с ней.

— Неладно, а затевал? Чего затевал? — сказал Захар, стоя перед Савелием с жестяным чайником в руках, из горлышка которого капала ему на брюки вода. Он подумал, не обидным ли вышло у Савелия слово «старик», но в слове обидного не было.

— Жизнь я поломал, это точно. Мы — люди свои, единой пролетарской семьи. Это у буржуев каких сытых, у них, дойдет до бабы, глаза кровянеют. А мы сознательно, по человечеству.

— Ты что ж, оскучал с ней?

— Зачем оскучал? Ты, старик, не лютей: подумать надо.

Захар поставил чайник на полку, обитую русским полотенцем, и сел возле Савелия. За окном, на бочке, стоял Петр Великий и, нагибаясь, пил из бочки воду. Глядя на него, Захар подумал, что выбитый глаз Петру Великому не большая помеха. И вдруг подумал, что совсем не в Петре Великом дело, а в чем-то

главном, что пять лет они вместе, в четыре руки несли вместе с женой, а сейчас выронили.

— Я человек против тебя отставший, — говорил Савелий сосредоточенно, охаживая слова, словно аккуратно лепил их из глины. — Натуру ее во всем совершенстве я удовлетворить не могу. Ее натура сложная. От меня что? Ей одной моей молодожавости мало. Она любит тебя, старик.

— Любила бы, — сказал Захар, — любила бы — не ушла бы.

— Молчи. Понимаешь ты женщину! Ты ее как дочь держал: книжки и общественная работа, слова всякие, а кроме слов, ей любовь нужна. Пока петухов не было, она не думала: такой, мол, ты есть высокий человек, и дело с концом. К петухам у тебя, старик, огненная страсть. Увидела она, что ты на страсть способен, и заревновала. А тут я. А тут смешки над тобой, над твоей петушиной дуростью. Что говорить: пустой забавы не можешь перебороть, общественник. Чай не водка.

— Чего тебе надо? Чего надо? Чего поешь?

Захар рассердился.

— Пришел бы когда, — сказал Савелий, вставая, — поговорили бы сознательно, по человечеству. Завтра с утра бы пришел, завтра праздник.

Захар увидел, что в глазах Савелия смутно и тяжело перекатывается боль, усмехнулся, пошел проводить Савелия до калитки. Тропка у калитки заросла

дурноплетом, была не метена. У калитки Захар надумал проводить Савелия улицей. Они пошли рядом, со стороны было смешно глядеть, как они идут рядом.

На повороте молча они пожали друг другу руки. Захар вышел за слободу, в поле.

Он сел на насыпи узкоколейной дороги, поросшей веселой прогретой травой; сюда на насыпь, он водил девушек, думая жениться, эта насыпь будила в нем чуть совестные и простодушные ощущения. Паровичек свистел у фабрики. Солнце падало на горизонт, как огорченное, уставшее сердце.

Ночью у себя в сенях Захар попробовал на палец колун. Колун был острый, тонко и музыкально звенел от остроты. Тряпицей, найденной на загнетке, Захар тщательно протер стекла фонаря, выпрямил пальцами фитилек свечи и зажег фонарь. Во дворе он поставил фонарь на крыльцо, опять попробовал колун на палец. На заборе, как две недели назад, сидел Жонька, похожий на куст.

— Мамашка плачет, — сказал он деловито. — Он ей говорит шлова, а она не шлушает.

— Погоди, Жонька, — сказал Захар и пошел в клеть, светя себе под ноги фонарем. В клети отрадно пахло куриным пометом, свежею землей. У прясла, в углу, большим темным комком лежал Петр Великий со свернутой шеей, с вытянутыми и смертно подобранными лапами, — его отточенные шпоры торчали, как штыки, и рядом с ним, со свернутыми

шеями, лежали остальные. Захар воткнул колун в землю, оставил фонарь в клети и вышел во двор.

— Атт, сукин сын, Аксенов, — сказал он Жоньке весело, как товарищу, — сдержал угрозу, погубил Петра. Иди спать: завтра зайду в гости.

— —

РЫЖИЕ ВОЛОСЫ

Дачи стояли в этом месте так, как растут опенки: кучей. Из окна одной через окна другой можно было видеть, что делается в окнах третьей. Сзади, со стороны кокетливых летних уборных, похожих на скворешники, надвигался на дачи сосновый плотный лес, по вечерам полный сини, комариного звона и смеха гуляющих. Со стороны балконов, по линии, каждые пять минут стремительно, как велосипедисты на треке, гнались поезда. Здесь, в этом дачном месте, жизнь билась воспаленным пульсом: слух был потрясаем свистками паровозов, граммофонной истерикой, соседскими ссорами и плачем детей; глаз был ласкаем кричащими тканями женских полуодежд, зеленью пропахшей нефтью травы и чудесным закатным небом, напоминающим о мирах нездешних.

Половодин толкнул калитку, отбросил ногою собаку, напоминающую взбесившегося ежа, и тут, на крылечке, увидел Регину Петровну.

Она вскинула своими девически тонкими руками, рукава ее капотика упали на плечи и, лучась на солнце

золотом рыжих волос, она побежала к нему навстречу, крича возбужденно:

— Да это Половодин, поглядите-ка на него! Это Половодин, милый Половодин, ах, вы как снег в июле! Откуда? Из Харбина? Как же вы разыскали меня на даче? Старая любовь не стареет, ах, большой плут! Идемте, сядем здесь. Или лучше на балконе. Хотите какао? Впрочем, на примусе надо переменить горелку. Вы не постарели, нет, нет. Вы холосты? Женаты? А я мой неповторимый, сделала глупость: я замужем и.. раскаиваюсь. Это вам — как другу.

Она увлекла Половодина на балкон, задернутый парусиною, которая кисло висела на медных колечках, напоминая паруса в штиль. Стол был покрыт скатертью, носящей следы недавно пролитого вина и соскользнувшей с тарелки яичницы. Букетик анютиных глазок умирал в вазочке, не дождавшись воды, которую ему забыли налить.

Половодин сел в плетеное кресло, думая рассказать о себе этой рыжей, гибкой и милой женщине, память о которой лежала в его душе подобно засушенному цветку в любимой книге.

Она не дала ему говорить. Она смотрела на него круглыми невникающими глазами, говоря без умолку, бешено, с яростной экзальтацией:

— Муж в отъезде. Его зовут Клим. Этим сказано все. Моя жизнь похожа на белый глазетовый гроб, в котором хоронят надежды и юность. Жизнь смяла меня, неповторимый Половодин, и вот, смотрите, на

моем теле не заживают следы ее клыков. Как я рада вам, Половодин! Хотите какао? Впрочем, я забыла, у меня сломался примус. Но...

Глаза ее, чудесные серые круглые глаза с черненькими ободками остановились на его бровях, влажных от пота и нахмуренных от усилия понять, что она говорит.

— Сегодня, на один день, я должна уехать в Москву. Женские глупости: портниха, легкий флирт с одним чудаком. Вы останетесь здесь, неповторимый: стеречь дачу и ревниво ждать вашего рыжика, который, несмотря ни на что, верен вам все эти годы. Мой поезд идет через десять минут. Проводите меня. Кстати я покажу вас Пантелеевым, Сиповичам, Кудашевым. Мы должны схитрить. Они все — дачные знакомые, Клима не знают, я представлю вас, как Клима. А то, чудесный мой, неудобно: пойдут сплетни, пересуды, Клим будет страдать.

Она надевала уже шляпу, севшую на ее великолепные волосы как легкая ласковая птица. На смуглых щеках ее появились лукавые ямочки, напомнившие Половодину его былое сумасшествие. В движениях ее был все тот же неугомон, все таже неуседа

Проходя вдоль дач, сжимая своими тонкими пальцами руку Половодина, Регина Петровна кричала:

— Милые! Приехал Клим! Я так счастлива, заходите!

Из-под вялых парусин высовывались дачные лица, изо всех сил старавшиеся показать, как им хорошо на

груди природы, как нравятся им комары, граммофоны, интересные соседи. Потом, на станции, Половодин купил Регине Петровне билет. В окне поезда мелькнули ее рыжие волосы под шляпой-птицей, сочные губы улыбнулись ему. Поезд рванул, обдавая Половодина дымом.

Сквозь грохот колес он услышал:

— Если захотите какао, то почините примус!

И Регина Петровна уехала.

Вернувшись на дачу, Половодин обошел ее пустынные, неряшливые комнаты, стараясь угадать по ним, какою стала Регина. Блузки и платья были разбросаны по креслам. На полу, возле старой, нехорошей кушетки, валялась раскрытая книга, на которую наступил регинин каблучок. В соседней комнате, на буфете, раскисала в тарелке земляника, и мухи восторженно вились над нею. Валялось письмо на серой, с голубой каймою, бумаге. Половодин из скромности отвел глаза, но подпись запомнил: «твой скучающий бегемот Володя».

Он сел у окна, сознавая, что смешон. Внезапное чувство это было похоже на похмелье после крепкого кутежа, который вчера казался ярким, красивым, изящным, а нынче от него мутит. Он закрыл глаза, гоня мысли, причинявшие ему что-то среднее между досадой, обидой и болью.

На звук тяжелейших шагов он открыл их. В дверях балкона стоял очень просторный, гривастый мужчина в парусиновой толстовке и таких же панталонах,

винтом ниспадавших к его рассохшимся сандалиям. Лицо его было пористо, как ромовая баба. Глазки-бусинки смотрели на мир с оголтелой какой-то добротою. Он захохотал на пороге, придерживая руками живот, и сокрушительно пошел на Половодина.

— Приехал, ах, приехал, разбойник, Клим Климыч, — задыхаясь от смеха, закричал он, сел на табуретку и сжал огромной ручищей своей колено Половодина. — Вот оно, какой вы прелестник, голубушка мой! А я — Сипович, сосед. Скучали, небось, по Регинушке, по голубушке нашей? Истомились, небось? Ах-ха-ха-с! Ах-ха-ха-с!

Половодин поглядел на него почти в ужасе. И сказал не думая:

— Мне очень приятно, но я устал с дороги. Извините меня.

— Понимаю! — закричал толстяк, вскакивая. — Ухожу! Вы простите меня, но за дачу мою у меня половина еще не плачена. И нынче, вообразите, голубушка, срок.

— Я бы с радостью одолжил. Да не при деньгах.

Чудесная перемена свершилась с толстяком. Погода может измениться мгновенно, мгновенно может измениться и человек. Глазки-бусинки стали твердыми, исполинские лапищи заложил Сипович за спину, и голос его, только сейчас еще колыхаемый смехом, принял оттенок деревянности.

— Мне это несколько странно слышать, уважаемый мой гражданин, — проговорил Сипович обидчиво

и даже словно бы с угрозой. — С самой весны, под ваше честное деловое слово, Регина Петровна перебрала у меня в разное время ровно сто двадцать рублей, не считая уже семидесяти трех копеек. У меня имеются даже ее расписки. Конечно, женщина молодая, игривая, у ней что ни пятница, то попойка, что ни среда, то домашний фокстрот. Я в чужую семейную жизнь не вмешиваюсь, но и этот московский хлюст, опасаюсь, простите меня, с нее тянет...

Уже позже, оказавшись на улице, Половодин осознал, что кричал на толстяка именно так, как кричат попавшие в историю мужья, и что дрожащими руками отсчитал ему сто двадцать рублей именно так, как это делают мужья, не желающие доводить дело до скандала. Ему было душно. Он шел длинною дачною улицею, вдоль палисадников, за которыми, в песке, дети строили дворцы и крепости, мимо торговых палаток, мороженщиков в опрятных фартуках и гамаков, на которых, прикрыв лицо газетой, каменели зимние пленники города.

Ему было душно, и он машинально, остановясь перед палаткой, попросил себе холодного лимонаду. Старик с бугрястыми от вздувшихся вен руками закивал, закланялся, заулыбался ему, как знакомому. Протягивая ему стакан, он сказал с патокой в голосе:

— С приездом, Клим Климыч, а когда можно будет за должишком зайти?

— Завтра, — отвечал Половодин, поперхнувшись лимонадом и, не допив его, вздернув плечи, пошел

дальше, свернул в просеку и пошел в лес. В этот вечерний час сосны казались светящимися, в хвое мягко, ручной кошкою, ластилось солнце, и в тишине леса, обнявшей его, Половодин слегка успокоился.

Он сел на корни, взял в ладони шишку и стал подбрасывать ее, как мячик, странно усмехаясь в усы. Ему было смешно, и хотелось ему над собою издеваться. Он не успел поиздеваться над собой, потому что мимо галопирующим обидным шагом прошел безусый, безбровый и безресницый молодой человек в полосатой рубашке ковбой, в полосатом кепи и утконосых желтых туфлях. Пройдя, он оглянулся на Половодина, потом поглядел в сторону, на сосны, как это делают петухи, намеревающиеся вступить в бой и желающие обмануть противника в своих намерениях

И бой неизменно разыгрался.

— Извиняюсь, — сказал молодой человек очень тонким, неспелым голосом, — так и так. Если не ошибаюсь, супруг товарища Регины Петровны?

Половодин молчал, глядя в его острый подбородок.

— Ближе к делу. Я просил бы не разводить излишних психологий. Короче говоря: вы в отставке, и Регинка завтра же переедет ко мне на Малую Бронную

— Пожалуйста! — с радушием поднял руки Половодин, — пожалуйста! Никаких излишних психологий! Пусть переедет сегодня же!

От молодого человека он ушел в лес и пробыл там до ночи, до последнего поезда на Москву. Ночью дач-

ная станцушечка была пустынна, мила своей тихостью; над нею стеклянными осколками, впившимися в небо стояли звезды. Половодин ждал поезда за платформою, на шпалах. Он вышел на платформу не раньше, чем поезд, желтея пустыми окнами, закрыл от него силуэты засыпающих дач. Начальник станции окликнул его, когда он открыл дверцу вагона:

— Извиняюсь, с возвращением вас. Приятно познакомиться. Регина Петровна обнадежила меня, что вы тотчас же по возвращении... Оклад наш, извиняюсь, вы знаете сами...

— Сколько?

— Всего полтора рубля.

Половодин расплатился. Забившись в угол купе, он в ужасе подумал, что сегодняшний день ему стоил почти месячного жалованья. Он вспомнил также, что жизнь его в ту пору, когда он знал Регину Петровну, была жалка, унизительна, вся в долгах, на грани мелких растрат. Он высунул в окно голову. У него было такое ощущение, словно рыжие волосы готовы были опалить его, а он спрятался сюда, в поезд, в пустое купе, и радуется тому, что так чудесно уцелел. И еще он радовался тому, что больше никто не подойдет к нему с ласковой ухмылкой, говоря:

— Извиняюсь, гражданин, простите, вы, если не ошибаюсь, Клим Климыч?

ЛЮТАЯ ЗЕМЛЯ

I.

В витрине заведения выставлены карточки, наклеенные на паспарту, четырехугольные, овальные и в виде ромбов; с них взглядом сытых и неумных животных смотрят уездные красавицы, чему-то удивленные девушки, жирные купцы и хлыщеватые, исполненные самодеянности счетоводы из мелких торговых контор.

Пыль, зной... матерь боска, какое стоит истомляющее лето!

Дрожки, покрытые белою пылью, остановились у заведения в полдень. Балагула закричал, стуча о кузов дрожек кривым, сучковатым кнутовищем: «Исаак, Исаак Гибшман, выбегайте же проворней!». На крылечко, застегивая кофту, вышла дочь Исаака и увидела на дрожках высокую, закутанную в звенящий пылышик, молодую пани, которая, играя веткой сирени, смотрела на нее из-под крыла соломенной шляпы. Ее лицо ошеломляло прямым взглядом сме-

лых, но беспокойных глаз; ее нельзя было назвать красивой. В ее ушах серьги сияли, как болотные огни.

Рива, дочь хозяина, сошла с крылечка, чувствуя стесненность под взглядом пани.

— Я приехала с письмом от Давида, — вкрадчиво сказала пани, стряхивая веткой пыль с колен. — Я вас узнала сразу: вы его сестра. Ну, что же это такое, как вы на него похожи!

— Отец, отец! — закричала Рива, всплескивая руками, отчего кофта ее растегнулась, показывая на спине розовое, несвежее белье. — Давид отыскался!

Она не находила слов и смешно, оставляя на раскаленной земле след своих стоптанных башмаков, несколько раз повернулась, как в пляске. Она хотела побежать в дом и не побежала, кинулась к чемодану пани и остановилась в нерешительности, протянув тонкую руку с темными полосками под ногтями. Балагула засмеялся, тряся бородой: он любил смеяться чужому удовольствию. Он спрыгнул с дрожек и, поджимая к коленям длинную свитку, взвалил на плечи английский чемодан пани из желтой кожи, затянутый в парусину.

Исаак, перебирая пальцами, вытягивая старческую красную шею, показался на крыльце.

Спустя полчаса пани сидела в ателье, среди щитов с серыми колоннами на фоне серых буков, среди все тех же безумных красавиц и сумасшедше интересных счетоводов, глядящих с паспарту. Старый Исаак держал в руке ее зеленый пыльник, с которого облаком

слетала пыль. Пани искала в большой, похожей на портфель, сумочке письмо Давида. Белая кофточка открывала ее круглые, слегка полные, лишенные загара руки и шею, на которой солнце оставило след своих нещадных губ. Ветка сирени валялась у ее ног, соря лиловыми звездами.

— Я думал, — говорил Исаак так же почтительно, как если бы перед ним сидел пан пристав, — я думал, что ноги Давида давно перестали попирать землю. Мой боже, мой боже, Давид исчез в тот год, когда Польша дралась, как разъяренная кошка! Вы же помните, пани? Человек не мог ступить по земле, чтобы не попасть в кровь. И что же вы хотите, пани? Вот прошло время, и опять у нас продают булки, и зачем же столько понапрасну вытекло крови? И нашелся Давид!

Пани, смеясь глазами, протянула ему длинный, клетчатый конверт, который он, закруглив глаза, почти рыдая от счастья, поднес к своим тонким, желтым бескровным губам. Прошли годы, а почерк Давида не изменился: все так же, в стремительном разгоне, несутся твердые, острые, жирные буквы, налезая одна на другую, как петухи в драке. Давид писал, что обнимает старого отца и любимую сестру, которую он оставил полуребенком в ту страшную ночь, когда небо горело заревом. Он писал о том, что пани Пшерминская — близкий друг его начальника. Пани Пшерминская ждет ребенка. Никто не должен знать об этом в Варшаве. Потом пани Пшерминская оставит ребенка

на руках отца и сестры. Она будет платить очень щедро. Давид обнимает своего отца и милую сестру, он надеется скоро с ними свидеться.

— Вы скажете в участке, что я сняла у вас комнату, — доверчиво и спокойно, нисколько не смущаясь, сказала пани Пшерминская. — Я привезла с собой краски, и вы скажете, что я художница, которая хочет работать вдали от шума Варшавы. Об остальном я позабочусь сама. Как жаль, что ваша дочь еще девушка.

Она встала легким движением и взяла Риву за острый подбородок: снова Рива увидела прямой смелый взгляд серых глаз и крупные, разбегающиеся лучами ресницы. Ее кожа походила на очищенное ножом яблоко.

— Вы меня будете звать Инкой, девочка. Так меня зовут все, с кем я дружна. Покажите, где я могу бымыться после дороги.

В мезонине Рива уступила пани Инке свою маленькую, окленную зеленой бумагой комнату с покатым потолком и широким окном на солнце, вымела из углов скопившийся сор и повесила новую белую занавеску. Запершись, пани Инка плескалась в холодной воде, и было слышно, как в ее руках весело пенится мыло. Исаак, вынув оловянные очки, перечитал письмо Давида, его седые брови, похожие на обгоревшую полынь, шевелились вместе с губами; он спрятал письмо в ателье, в конторку, в углу ателье, сел на софу и горько стал думать, о том, что обижен сыном: сын

год, два года, быть может, три года живет в Варшаве, а первое письмо его привозит какая-то великолепная, незнакомая женщина, которая должна родить под его кровом. Пусть так, пусть так, он исполнит просьбу сына, даже если бы ему самому пришлось ночевать во дворе под бочкой. Зажужжав звонком, дверь распахнулась, вошел господин офицер в летнем кителе со стэком красного дерева, которым он похлопывал свои брюки, и все, что ему попадалось под руку. В городе уже было известно, что балагула привез к Гибшману даму из Варшавы. Какой размер желает пан? — спросил Гибшман, думая о Давиде, — визитный, кабинетный?».

Офицер заказал тот, что дешевле, — визитный и потом, позируя и делая при этом мучительно красивое лицо, спросил:

— Ну, еврей? Рассказывай.

— Художница, — отвечал Исаак строго, — художница. В Варшаве, сами знаете, пан, может ли быть в Варшаве какое спокойное творчество?

Уходя, офицер задержался в темных сенцах и поглядел наверх: на площадке пани Инка держала в руках огромный таз, полный мыльной воды, на ней был розовый, изумительно блестящий, изумительно легкий пеньюар, на черных волосах, как белое большое насекомое, лежал чепчик. Рива отнимала у нее таз, смеясь весело и влюбленно. Зубы у пани Инки блестели. Кто бы подумал, что Рива умеет так смеяться?

— Имею честь, — сказал офицер, щелкая каблуками, — помощник тюремного коменданта, Антось Дальчевский.

Он ушел, прихлопнув за собой дверь.

— Какой красавец! — закричала пани Инка, — какой красавец, Рива! Неужели ты еще не сняла с него головы? Подожди, мы будем жить с тобой весело, так весело — веселей, чем в Варшаве!

II

В местечке был кинематограф, где три раза в неделю показывали парады Пилсудского, ужасы советской России и американских актрис в трагических переживаниях. Еще был ресторан в саду, ночами гудящий офицерскими попойками. В полуверсте за местечком, за военной тюрьмой, лежала Лютая земля, окаянная голая пустошь, где под барабанный бой вешали государственных преступников, и тогда, на рассвете, любители собирались у вала, чтобы после рассказывать о том, как смертник бился в руках у солдат.

Пани Инка была странная женщина. Ей нужно бы прятаться от людей в маленькой мансардочке Ривы, но она скучала без общества и, взяв Риву, открыв белый зонтик, ходила по улицам местечка, вышучивала ободранных евреев и скучающих офицеров тюремного гарнизона. Она придумала для Ривы мальчишескую прическу с кудрявой чолкой и подарила ей свое платье; она купила ей легкие летние туфли

и сумочку из стеклянных бисеринок, сверкающих, как чешуя. Уже все местечко знало о том, что пани Инка приехала прятать от Варшавы свой женский грех. Она держала себя, как авантюристка, и уже Антось Дальчевский, позвав товарищей, угощал ее в ресторане холодным шампанским.

Был вечер, но пески дышали жаром, и звездный свет не освежал. На стойке большой красный граммофон ревел неясным скрежещущим джаз-бандом. Антось Дальчевский, держа бокал вровень с красивым лицом, произносил речь в честь варшавянок и польского офицерства. Рива, сутулясь, смотрела на него с ужасом: с той страшной ночи, когда исчез Давид, она боялась офицеров, она боялась мужчин. Пани Инка засмеялась, поставила бокал на стол, ее смуглые щеки зажглись румянцем, который сейчас, в кидающемся свете лампы, казался черным.

— О, милый Антось! — сказала она, — скажите, вы много повесили людей на Лютой земле?

— Собак, — ответил Дальчевский, звеня шпорами, улыбаясь, играя глазами, — собак во образе человека. На-днях мы будем вешать солдата, присланного к нам из Варшавы. Этот парень собирается умирать с интернационалом на губах. Хотите посмотреть? — Я вам устрою.

Рива шла с пани Инкой под бледной пеленой рассвета: Дальчевский напился до состояния, которое помешало ему проводить их. Пыль под ногами казалась белой, как зубной порошок. Под глазами пани

Инки лежали синие полыньи. У нее закружилась голова — она прислонилась спиной к шершавому забору.

— Он? — спросила Рива тревожно.

— Кто?

— Ваш ребенок...

Пани Инка улыбнулась беспомощно, по-детски.

— Да, да, Рива, ребенок. Мне вредно пить. Но что я могу поделать с собой — я привыкла к обществу, к смеху, к глупым комплиментам. Ты меня любишь, Рива?

— Люблю ли я пани! — сказала Рива, сжимая грудь пальцами, — люблю ли я пани!

Она схватила зонтик и стала целовать бешено, со звериной страстью: белый зонтик с черными ободками по краю. Любит ли она пани! Пани Инка бережно отняла у нее зонтик, обняла за плечи, говоря:

— Я знаю, как тебе страшно жить после этого. Моя девочка, ты должна верить в хороших людей.

— Вы одна хорошая. Больше нет хороших. Ой, я знаю, пани, больше нет хороших!

III

Рива Гибшман потеряла девственность четырнадцати лет; после этого она не смеялась больше. Было такое же, как теперь, сухое лето; в окрестностях местечка, в болотах и лесах, как волчи стан, бродили повстанцы. С болот несло дымом их кочующих становищ. Белые банды пьянствовали по городам, горели дома и синагоги, и на деревьях, вдоль выщербленного,

потного от солнца шоссе, качались трупы. Местечковые евреи, погрузив обжитой скарб на телеги, бороздили дороги Польши, как цыгане ночуя под небом, и в небе каждую ночь горела звезда, красная от дыма пожарищ.

Рива сидела у задка телеги, на желтой, как персик, перине. Кутаясь в материн платок, заношенный до дыр, она слушала, как в повозках плачут дети, и голодные, испуганные матери поют над ними. Евреи не разжигали костров, боясь полей, которые были враждебны к ним; выжженные солнцем, они в свете звезд казались слюдяными. В ногах у Ривы лежал хромой Давид. Взрослый, с курчавой бородой на щеках, — он плакал от бессильного и яростного гнева. Старый Исаак, облеченный в талес, надев на голову тефилин, молился у брошенных на землю оглобель.

От соседних повозок подходили старые евреи; их седые бороды оббитыми вениками сникали на грудь; старики шопотом говорили о резне, о Балаховиче, о насилиях, — крест, который своей тяжестью дробил им плечи. Светало, голубые поля принимали рыжий оттенок песка; подходил час утренней молитвы; рыдающими, хватающими за сердце голосами старики запели мелодию «у рек вавилонских».

«На вербах там мы повесили наши киноры...»

Рива рукой проводила по курчавой и упорной, как проволока, бороде Давида, не умея понять, почему он плачет, тихо говоря:

— О чем ты плачешь, Давид? Ты мужчина, и ты плачешь. Безойнен.

«На вербах там мы навесили наши киноры...

Отец пел, поднося к лицу высохшую руку со скрюченными как сучья пальцами, подымая длинные, опушенные сединой ресниц глаза к тающему холоду звезд. Жизнь шла, перепрыгивая с кочки на кочку, как воробей. Было местечко, свой угол в местечке, ателье, кормившее его семью — кто скажет, что был он — шайгец? Общее бедствие выгнало их из местечка.

«На вербах там мы навесили наши киноры...»

Они вернулись в местечко, когда из поля в поле прошли слухи о том, что в городах наступило спокойствие. К ночи в местечке запылала синагога и примыкающий к ней ешибот; кровавые хлопья огня танцовали в оконных стеклах; пьяные солдаты гурьбой ходили из дома в дом, перерывая скарб, еще не размещенный по углам. Два офицера вывели Риву во двор, к старой рассохшейся бочке, полной воды. В воде пленительно и ясно отражалось зарево пожара. Давид опоздал: растрепанный, с колуном в руке, он прибежал, когда офицер, потрепав Риву по щеке, опустил ей за ворот монетку. Они схватили Давида и, обезоружив, потащили его за собой. С тех пор она не видала Давида. Монетка сползла к животу. Рива достала ее, поднесла к глазам, невнятно разглядывала царский золотой. У порога лежала мать с проломанной головой, отец, забившись под кровать, трясся в животном

ужасе. Рива села возле матери и стала гладить ее запалую, уже остывающую грудь.

IV

Антось Дальчевский поджидал Инку в садике против отделения варшавского банка. С листьев старых лип при мимолетном движении воздуха сыпалась мелкая пыль. Бледный день стоял в деревьях иссушающим зноем. Дальчевский не отыскивал пустынных углов сада: он прямыми, эластичными шагами ходил у деревянного столба, подымающего над пустой клумбой блестящий шар. В это проклятое лето погибли все цветы в садах, почахла трава и умирала зелень!

Рива, прячась за кустом, глухо ненавидела Дальчевского, его играющую иноходь, его похвальбу пани Инкой; он готов был кричать на всю Польшу о том, что пани Инка теперь уже не выскользнет из его рук. Куда бы пани Инка ни ушла, Рива шла за ней, как ревнивый соглядатай, как нищенка, как обманутая девушка за веселым краснобаем из слободки. Дом казался ей пустынным, когда там не было пани Инки. Если бы пани Инка захотела... Рива вынула бы свое сердце из груди и положила бы его под ноги ей, как подушку.

Пани Инка шла своим обычным крылатым шагом, широко раскрыв глаза, как бы удивляясь великолепию и роскоши мира. Медальон на ее открытой шее и блестяшки серег вспыхивали на солнце, как болотные огни. Она протянула Дальчевскому свои теплые руки

в белых митенках, он склонился над ними, играя плечами и бедрами, бросив подмышку длинный, оправленный серебром стэк.

Рива слышала, как усталым голосом пани Инка сказала:

— Нет, нет, Антось. Я должна спросить совета у алтаря.

— Совета?

Он весело пожал плечами. Взбалмошные порывы этой женщины доводили его до сладкого головокружения, он не стал возражать.

— Я пойду с вами, Инка, — проговорил он, — я буду смиренно просить бога, чтобы он подал вам снисходительный совет. Инка, вы похожи на святую, которая идет на костер!

— Не говорите так! — строго сказала Инка, поднимая на Дальчевского туманные глаза. Они пошли об-руку широким и тупым переулком, накаленный булыжник которой был горяч, как дыхание тифозных. Сухой ветер пламенем опахивал ноги.

Рива вслед за ними поднялась в костел и отошла к стене, в темноту, напитанную запахом ладана, цветов, старых церковных материй. Что сказал бы Исаак Гибшман! Церковь была пуста, величавые стены ее источали запах благоговейной сырости. Морщинистые согбенные старухи из богадельни раболепно склонялись над молитвенниками. Стояла та гулкая тишина, что жадно ловит и удваивает звук: треск парт и конфессионала, отрывистый молитвенный вздох,

скупой шаг сакристиана, который, сметая пыль, неслышно передвигался в ризнице.

Викарий с надменным лицом и белыми выразительными руками прошел на правый конфессионал.

Сдержанно кашлянул капеллан.

— Deus, in adjutorium meum intende...

Орган отозвался рыдающим звучанием:

— Domine ad adjurandum me festina...

Пани Инка, как парус, проплыла мимо Ривы, Дальчевский едва поспевал за нею. Сбежав со ступенек, она обернула к нему пылающее яростным румянцем лицо. Она закричала, обдавая его жаром своего дыхания, пряча в глазах сумасшедший блеск:

— О, я не могу сегодня молиться, Антось! Я плохая католичка. И я еще не согрешила — я буду молиться, когда согрешу.

Дальчевский, сияя, вытирал платком потный красивый, похожий на мраморную доску, лоб.

— Но вы должны исполнить обещание, Антось. Мы сейчас накупим фруктов, сластей, вина... анчоусов, и мы поедем к смертникам. Добрыми делами я хочу задушить мое легкомыслие. О, Антось, вы обещали мне.

— Если начальник не передумал...

— Начальник не передумал. Зовите извозчика — мы закупим полмагазина.

Взбалмошность этой женщины сводила Дальчевского с ума: он повел пани Инку на угол Варшавской улицы, где под парусиновыми шляпами дремали сей-

час два единственных на местечке балагулы. Рива растерянно остановилась среди переулка: из костела, как облака, плыли томящие, горькие песни органа. Скоро она услышала, как по мостовой с треском загрохотали колеса.

Она вернулась домой: пора было варить для отца обед. Исаак стоял у открытой конторки, в оловянных очках, куча мелких квитанций и пожелтевших от времени бумаг порхали у его колен, как побитые птицы, и медленно ложились на пыльный стол. Он поднял на нее обеспокоенные глаза.

— Я хотел перечитать письма Давида, — сказал он. — Не может быть, чтобы он ничего не написал о себе. Я позабыл поглядеть на оборотной стороне листка. И вот — письма нет, что бы ты думала такого? И вот письмо точно съела крыса.

Они стали искать вдвоем, но письма не было. Только пани Инка остается иногда в ателье... В чадной кухоньке Рива готовила обед, думая о пани Инке, о том, как, пахнущая духами, она ходит сейчас по мрачным коридорам тюрьмы, бросая заключенным улыбки и груши. И Дальчевский, склонив голову, жадно смотрит на ее плечи. Рива закрыв глаза, душила в себе слезы. Все равно, через несколько месяцев пани Инка уедет домой в безумную Варшаву, бросив ей на руки ребенка; она забудет его так же, как и Риву, как и Дальчевского, как и того человека, которого зовут Михась.

Она отправилась отыскивать этого человека, как и просила ее пани Инка, поздним вечером. Пани Инка не вернулась домой. Заперев ставни, Рива взяла маленький сверток, завернутый в газетную бумагу, и спрятала его на груди; сверток был туго перевязан розовой ленточкой из тех, которыми в магазине обвязывают конфетные коробки; пани Пика, отдавая его Риве утром, не сказала, что в нем; ее глаза были немного испуганы и очень горячи. Она сказала: «Ты отдашь это Михасю вечером так, чтобы никто не видел. Он будет ждать тебя у водобашни в одиннадцать часов. Ты его узнаешь по приметам...»

Над местечком, как душное одеяло, лежало ночное небо с крапинками неподвижных звезд, доносилось из кино бренчанье пианино. В домах раскрылись ставни, и жители местечка вышли на пороги посидеть и посудачить. Они говорили о прекрасной даме из Варшавы. Вдоль улиц, опираясь на суковатую палку, пошел полусумашедший учитель, Бойко, у которого в лихие годы была вырезана вся семья; он шел, произнося латинские стихи, не в силах успокоиться прежде, нежели обойдет местечко вдоль и поперек. Рива пошла к водобашне, делая вид, что идет по делу: ну, в аптеку, чтобы принести отцу капель для сердца. Ее звали с порога посидеть, она отвечала: «Ах, я так спешу, мне так положительно некогда!» Она думала о Михасе, еще об одном человеке, которого пани Инка сделает несчастнее червя. Возле водобашни было темно и пустынно. Еще не было одиннадцати часов.

Рива остановилась под акациями, листья которых были сухи, как смятая бумага. Ее сердце стучало так гулко, что у нее потемнело в глазах. Пани Инка любит ее так, как любят котенка: ему вешают на шею погремушку на шелковой ленте, но ему не говорят ни о чем. Пальцы Ривы, сжимающие сверток, задрожали ревностью и обидой; она размотала ленточку, открыла коробочку. В это время от водобашни отделилась тонкая длинноногая тень мужчины, который был одет в черную рубаху и в кожаные, несмотря на жару, сапоги. Его бледное, но грубоватое лицо обегала сердитая бородка.

— Я Михась, — сказал он шопотом.

Его глаза, как утром у пани Инки, были немного испуганны и горячи. Рива собралась с силами. Протягивая ему коробочку, задыхаясь, она проговорила:

— Пани Инка прислала вам револьвер. Она не злая, нет, нет, — положительно не думайте так! Она пошутила... И тот пан офицер, это же глупости... вам не надо стреляться от любви.

Михась взял из ее рук револьвер и сунул его в карман. Глядя Риве в дергающийся рот, он сказал:

— Спасибо.

V

На рассвете к Лютой земле потянулись люди: сегодня там вешали неизвестного солдата. В сумрачной и строгой тишине люди двигались поодиночке и парами, похожие на верующих, которые спешат в дом молитвы.

Их веки были тяжелые после сна, движения связаны. На улицах глухо звучали их сдержанные голоса. Ремесленники, пухлые сыны купцов, теплые после сна женщины шли на Лютую землю, чтобы слышать, как трещит барабан, и чтобы видеть, как на шею человека накидывают петлю. На востоке играла румяная заря. На Лютой земле, где не росла трава, в котловине, похожей на яму, стояла виселица; ее перекладина была золотой в пьяном свете зари.

Пани Инка не вернулась, и Рива всю ночь не сомкнула глаз, просидела на лестнице, возле ее двери. Закусив губы, она думала о том, как Антось Дальчевский наливает пани Инке вино, и как играющая пена бьет через край бокала. Рассвет шел долго, старый Исаак бормотал во сне молитвы. Конечно, Дальчевский повез пани Инку на Лютую землю. Рива встала и закутала плечи и голову в платок. Разве она знала, зачем ей нужно итти? Ей казалось, что пани Инка ходит по крутому берегу, и вот — береговой песок осыпается под ее ногами.

Кутая голову в платок и думая, что ее не признают соседи, она молча шла среди людей, которые говорили меж собой: «Этот солдат пойман на том, что бунтовал роту». «Коммунист?» «А уж это не извольте задумываться! Платок на Риве был материн, дырявый, с красными клетками. Ее признали и окликнули. Кто-то шутя спросил, не родила ли нынче дама из Варшавы. Они вышли за местечко, и Лютая земля открылась перед ними.

Она лежала внизу в котловине и казалась выжженной пустошью, голой, бессильной поднять траву, черной и хищной как пожарище. Темные птицы молча носились над нею. Отсюда, с вала, с которого во время ученья стреляли солдаты, до нее было с полверсты, но люди не спускались вниз, толпились на глиняном валу; они стояли в дружном молчаньи, как стоят люди в ледоход у реки, ломающей лед. Рива увидела солдат, тонкой цепочкой тянувшихся по дороге от тюрьмы, штыки их винтовок были багряны от молодого солнца. «Ведут!» — сказал все тот же подмастерье. Жчрная женщина толкнула Риву локтем, пахнущим яичным мылом. У виселицы офицер скомандовал свежим, как утро, голосом. Это был Дальчевский. Рива растерянно оглянулась: пани Инки не было нигде.

Пани Инки не было, и такая же широкая, как это солнце, радость залила Риву. У нее счастливо раскрылись глаза, и эти глаза уже не понимали, что высокий человек, немного прихрамывающий, сейчас будет умирать под треск барабанного боя. Отсюда, издали, было видно, что голова его обрита и у него большой пухлый рот. Рива стояла, выглядывая из-за плеча подмастерья, думая о том, что пани Инка, вероятно, дома, что она озябла, устала, и нужно бежать варить ей кофе. Человек оттолкнул солдат и прямо, как палка, слегка прихрамывая, пошел к палачу. Палач ждал его.

поглаживая табуретку. Барабан забил оглушительно, сухо, разбрасывая горошины. Толпа у вала стеснилась, и вдруг громко, будто умирая, закричала толстая женщина.

Человек выстрелил в Дальчевского и скачками, как заяц, побежал к кустам.

Кусты росли там, где кончалась Лютая земля, — скудные, ощипанные засухой, зло и смертно они вытягивали к небу свои голодные ветви. Они тянулись стеной вокруг по крутому взгорку, обрываясь у проселочной дороги. И в ту же минуту на дороге, весь в розовой пыли, возник мотоцикл с прицепкой, два человека в сиреневых пыльниках управляли им. Смертник, нырнув в кусты, побежал по дороге, — было видно, по расползающимся ветвям, было видно, как он бежит; выстрелы винтовок захлопали потрясенно. На ходу, пустив в небо синий чад, машина стала. Смертник упал в прицепку, только взметнулись его руки; громче барабана, его сменяя забил мотор, и машина понеслась по дороге, к валу, прямо на толпу, затихшую в окаменении.

И, когда они проносились мимо, Рива увидела под капюшоном пыльника бледное, с открытым ртом лицо пани Инки, которая, как наседка, распустила над смертником полы своего пыльника. На руле, пригнув голову, сидел курчавый человек, тот человек, что вчера приходил к водобашне. Михась. Они мелькнули

перед толпой, и нырнули в долину — туда, где, упираясь в горизонт, желтой лентой лежала дорога. Уже на толпу, кинув винтовки наперевес, бежали солдаты. Дальчевский бежал с ними, сплевывая кровью. Толпа шарахнулась. Рива побежала, широко расставив руки, платок с красными клецками упал на дорогу, тяжелые ноги бегущих смяли его.

Уже к вечеру в ателье старого Исаака пришла полиция, усатый начальник пихал ногой в потертый бархат софы, срывал со стен карточки и раздраженно кричал. Что он знает, старый Исаак, об этой даме? Она вела себя как последняя пилегеш, но он ничего не знает про нее. Она привезла ему письмо от сына...

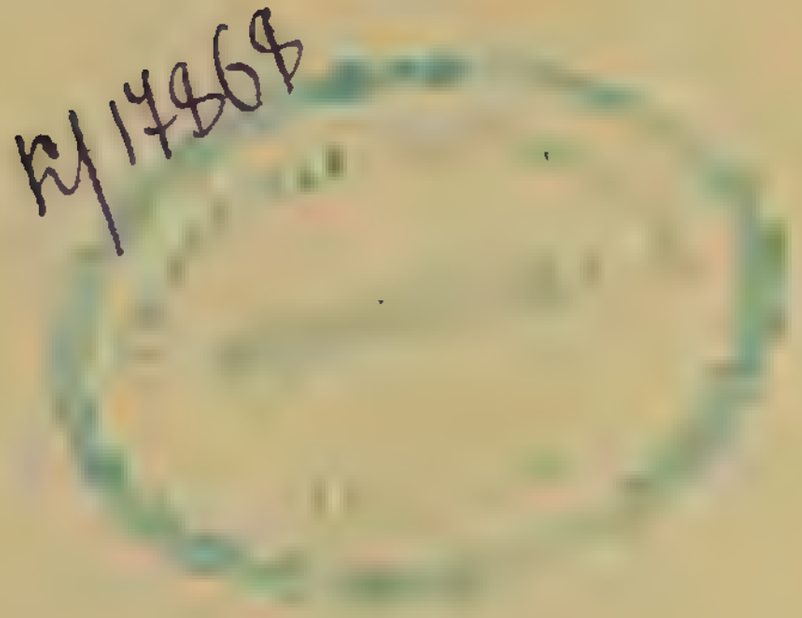
— Отец порехнулся, пан начальник, — сказала Рива крепким, не своим, вновь родившимся голосом.— Дама из Варшавы просто сняла у нас комнату и уже не возвращалась с вчерашнего утра. Никакого не было письма, где письмо, где письмо, отец, я спрашиваю тебя? И никакого нет сына. Был сын Давид, так он, каждому известно, погиб десять лет назад.

Когда их вели пыльной улицей среди домов, прикрытых ставнями, Рива мучительно думала о том, что смертник, бежавший в кусты, хромал на левую ногу. «Ничего, ничего, Рива!» — утешал ее Исаак, пряча за борт пиджака прыгающие пальцы. Вечером, после допроса, опустив голову на колени отца, она спросила тихо:

— Скажи мне, отец: Давид... он хромал на левую ногу?

Разбитый Исаак уже ничему не мог удивляться. Положив дрожащие пальцы на волосы Ривы, он ответил невнятно:

— Ну, как же иначе, Рива? Он хромал, наш бедный Давид. Ну, как же иначе, Рива?



ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Обида	5
Ковалев, Королев и Аркадий Петрович	56
Чертополох	106
Конец Петра Великого	166
Рыжие волосы	186
Лютая земля	194

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 5

Глава I. Порядок и дисциплина труда 56

Глава II. 106

Глава III. Охрана труда 165

Глава IV. 185

Глава V. 191

Цена 1 р. 50 к.

Ком.

СКЛАД ИЗДАНИЯ
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР
МОСКВА, ЦЕНТР, БОГОЯВЛЕНСКИЙ ПЕР., 4.
Т. 2-65-31 и 5-50-80. ЛЕНИНГРАД, ЛЕНОТГИЗ.
ПРОСПЕКТ 25-го ОКТЯБРЯ, 28. ТЕЛ. 5-34-18.